

Б И Б Л И О Т Е К А

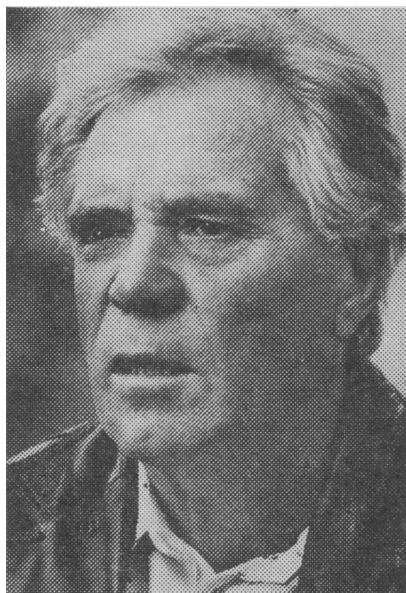
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 27

1986



*Виктор АСТАФЬЕВ*

***ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ***

О К О Н Ч А Н И Е

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 27

---

Виктор АСТАФЬЕВ

# ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

РОМАН  
*(Окончание)*

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1986



Паша Силакова, pinaющая Веньку Фомина, собственный стон и слова: «Да поезжайте же!» — было последним, что въяве слышал и помнил Леонид. На грейдере и по склонам логов, размытых осенними дождями, лужи, лужи, в выбоинах под грязью склизкий лед. Было, подбрасывало, трепало машину на пустынной, всеми забытой дороге. Раненый погрузился в тяжелое забытие. Виделась ему раздавленная крыса. В Вейске во время дежурства он часто ходил в блинную, расположенную в самом центре города, но в тихом переулке, и оттого малолюдную. Здесь работали веселые румяные девки в пышных капорах из марли. Они не жалели для Сошнина масла, подсушивали блины на сковородке до хруста — как тетя Лина.

Едут однажды милиционеры на дежурной машине по зеленому переулку и зрят: из старого, подгнившего дома через переулок в блинную шествует огромная, пузатая крыса с гусарскими усами. Шофер прибавил скорость, крыса смертно взвизгнула. К вечеру на земле остался клочок шкурки: городские санитары — вороны склевали падаль. С тех пор Сошнин не заходил в блинную, и стоило ему ее вспомнить — являлась дородная, брюхатая крыса, и его начинало выворачивать. В пути от Починка выворачивало так, что начались спазмы в сердце. От приступов рвоты пузырилась из раны кровь. Раненый ослаб за дорогу до того, что весь до горла погрузился в желтую навозную жижу и каким-то ему уже не принадлежащим усилием вздымал голову, не давал захлестнуть жарко распахнутый рот вонючим потоком, но с крысой ничего поделать не мог — она все визжала и визжала под ним, особенно громко на разворотах, рожая и рожая мокрых, голых крысят.

Выехали на асфальт, крыса смолкла, но отделилась от туловища голова, загремела по железному полу, катаясь из угла в угол. Вот и голова хрустнула под колесами, правда, без визга, и осталась на растрескавшемся асфальте, бескровная, с открытыми живыми глазами. Возле дороги на вершинах черных елей сидели черные вороны, чистили клювы о ветки, собираясь расклевывать голову. Начнут они ее с глаз, с живых, серо-голубоватых, с детства ведомых Леониду глаз русского северянина.

— Голову!.. Забыли мою голову! Голова-а-а-а! Подбери-и-ите-э! — Ему казалось, он кричал так громко, что его слышно даже воронам, и, спугнутые криком, они разлетятся, не тронут голову. Но он лишь слабо шевелил губами, истерзанными до мяса. Что-то прикасалось к ним, обжигало рот, пронзало ноздри, ударяло в то место, где должна быть голова, и он хотя бы на короткое время получал передышку, сознавая, что жив, что голова с ним, на месте.

Но вот на месте головы замелькал свет милицейской мигалки-вертушки, не синим и не красным светом моргала вертушка, а почему-то навозно-желтым, и снова задирали раненый лицо, не давал жиге залить рот, ноздри, но желтые валы наплывали неумолимо, медленно, будто сера из подрубленного дерева. Слепляло рот Леонида, склеивало нутро, душило и душило горло, судороги от нехватки воздуха скрючивали его, вязали в узел, рвали жилы.

Навалившись негнущим телом на Сошнина, не в силах успокоить, удержать конвульсии раненого тела, деревенская фельдшерница заливалась слезами:

— Миленский... Миленский... — умоляла, просила, криком кричала фельдшерница. — Не мечись! Не мечись! Успокойся! Кровь... шибче кровотечение. Миленский... Миленский... Скоро. Город скоро. Миленский... миленский!.. Сколько в тебе силы-то! Ты выживешь. Выживешь...

## Глава седьмая

Очнулся Леонид через сутки после операции, которую делал все тот же незаменимый Гришуха Перетягин, но уже вместе с бригадой помощников, в той же хирургической палате, в которую попадал Сошнин с поломанной ногой. Лежал на той же койке, возле окна. За окном, знал Леонид, есть сохлая ветвь старого тополя, и к ней прикреплен, точнее, ввинчен в нее «стакан» радиопроводки. От «стакана», от ржавой резьбы кованого крюка, радостными проводчиками всаженого сюда, должно быть, еще в первой пятилетке, и засохла ветка дерева. Опутанный проводами, обставленный склянками, Сошнин хотел и не мог пошевелиться, чтоб увидеть знакомый тополь, знакомую на нем хрупкую, как кость, ветку и на ней белый-белый «стакан», выросший в плоть дерева.

По прикосновениям рук и по запаху волос, которые касались его лица, порой залепляя рот, затем и глазами через колеблющийся, туманом наплывающий свет он узнал Лерку. Она попоила его из ложечки. Издалека донесло до него голос. Сообщалось: больной открывал глаза. Чтобы доказать себе, что он их действительно открывал и может их открывать, Леонид произвел в себе огромную работу, с большим напряжением сосредоточился, стянул в одно место

все, что в нем слышало, ощущало и жило, — увидел тополь за окном, и одинокую сухую ветку, и на ней белый-белый «стакан». Будто рука в драной перчатке протянула ему большой кусок сахара, ни с какого бока не обколото, снежного, зимне-праздничного, сладкого. Осенним ветром шевелило, снимало остатки коры с отжившей ветки, но выше ее еще билась россыпь примерзлых листьев, не успевших отцвести и опасть на землю. Малая птаха, синица или щегол, — но тот ведь на репьях осенями жирует, — выбирала козявок, на зиму упрятавшихся в коре и в листьях, неторопливо обшаривая ствол, ветви, и, когда клевала стерженек листа, он, потрепетав, отваливался, мерзлый, тяжелый, без парения, с пугающим птицу жестяным звоном падал вниз, и птаха отпархивала в сторону или вверх, провожая зорким глазом лист. Успокаивалась и снова начинала кормиться.

«И так вот всю жизнь! В поисках корма, в хлопотах, в ожидании весны. Прелесть-то какая!..»

Почувствовав взгляд человека, птаха прекратила поиск, кокетливо склонив головку с детски сытенькими, лимонно-желтыми щеками, глянула на него через стекло и тут же успокоенно продолжила работу, поняв, что от немощного человека нет ей никакой опасности.

— Пы... пы... пти-чка! — прошелестел едва слышно Леонид и заплакал, поняв, что видит живую птичку и она его видит. Живого.

Еще через сутки он спросил, не открывая глаз:

— Иде я?

— Иде все та же: побеждать зло, утверждать добро. — Сквозь заложенные уши, через туго и плотно натянутые перепонки, все еще издалека, пробился к нему голос Лерки.

Он проморгался, осмотрелся. Прямо от жены, от Лерки, к нему, к мужу, протянуты толстые провода! Они навеки крепко связаны!

К нему начал возвращаться юмор. Об семье! Самая это юморная нынче тема. По трубочкам сочилось что-то светлое, каталось бусами круглых пузырьков. Провода выглядели вынутыми из мертвого тела жилами, но шарик в стеклянных трубочках катился весело и живо. Тоже хорошо. Просто так хорошо. Без юмора. Это что же получается: как ему пришили ногу, так он отсюда и не уходил, что ли? Или его вновь изуродовали?

А-а, Тугожилино. Телятник. Женщины. Венька Фомин... «Да что же это такое? Бьют и бьют. Калечат и калечат... Когда же этому конец будет?» Жалко себя сделалось Леониду, вновь его на слезу повело. Он хотел отвернуться, да невозможно, — проводами опутан, держат они его, и сил нету. Лерка, не спавшая две ночи, увидев слезы на лице мужа, тоже закрылась рукой, но слезы просочились сквозь ее пальцы.

— Ты когда-то сложишь удалую голову! — ругалась Лерка, хорошо ругалась. Слушал бы и слушал. Вообще все и всех слушал бы, на все и на всех глядел бы и глядел — такое это счастье! В деревне,

богом, начальством и людьми забытом углу, обезвредил преступника! У нас везде есть место подвигу, да? Чуть не подох!

Он с трудом поднял руку, опустил ее на Леркино колено, вспомнил его, крепенькое, круглое, высвеченное солнцем, там, в леспромхозовском общежитии, давно-давно, в какой-то жизни, в каком-то веке. Передохнув, нащупал ее пальцы, попробовал сжать их.

— Там, в том углу, тебя... дуру...

— Встренул, — подсказала она.

— Аха!

— И что же? Я встретил вас, и все бывшее в отжившем сердце ожило?

— Аха, ожило!

— Ну, ты даешь! На ласки повело жестокого опера. В лирику бросило! — Лерка отвернулась к окну, смаргивая слезы. — И правда, птичка! — удивилась она. — Ну, зорек, орел! Ну, приметлив! Ума бы еще маленько, и был бы мужик хоть куда!

— Я и так умный чересчур, и от ума жить мне как-то неловко, ум большой, одежда тесная, рукава короткие, штаны до колен...

— Ври больше! Умных на ржавые вилы не сажают. Умных, да еще писателей — из пистолетов бьют.

— Будь я в форме... Он за туриста-интеллигента меня принял... иконы да прялки которые вышаривают... — Подышал: некуда торопиться, а поболтать так охота, давно с женой не болтал. — Интеллигенты что? Их только резать или стричь...

— Нельзя тебе много шутить. На шутки умственность и сила тратятся. У тебя ни того, ни другого...

— Как я хочу жрать, старуха!

— О-о! Вот это другой разговор.

Выкарабкался! И на этот раз выкарабкался! На третий или на четвертый день пришла «подывыться» на родственника румяная, только еще начинающая полнеть повариха — от нее перелили Сошнину кровь: оказалась нужная ему группа.

Остановившись в отдалении, дивчина поздоровалась:

— Здравеньки булы! Ну, як воно, здоровячко, товарищу лейтенант?

Сошнин сделал невероятное над собой усилие, чтобы не расплакаться снова, поманил дивчину к себе:

— Подойдите, подойдите поближе! — Сердце Сошнина сорвалось с места: «Да ради таких вот...» — Здоровье мое... налаживается. — Он взял руку поварихи и поцеловал до жил измытые, выеденные крахмалом и уксусом пальцы, пахнущие луком и еще чем-то родным, тети Лининым, тети Граниным. Подкопив силенок, он и в щеку поцеловал дивчину, в тугую, румяную, чуть изветренную щеку, чем окончательно смутил ее, и, чтобы развеять смущение, указал на



улыбающуюся сквозь слезы Лерку. — Это моя жена! Без пережитков жена. Не ревнивая, потому как современная...

Полтора месяца в больнице, еще месяц по больничному — и инвалидная группа. Пока на год. Что дальше? Конечно, горотдел большой, да и областное управление внутренних дел — предприятие разнообразное, в каком-нибудь закутке найдут ему тихую, неопасную работу, на доживание до пенсии по старости. Но зачем она ему? Кто побыл на фронте разведчиком, сказывал Лавря-казак, плохо приживался в другом месте, в других частях. Тот, кто поработал в угрозыске на оперативной работе, туго воспринимал тишину и оседлость.

Показательный суд над Венькой Фоминым наметили было провести в деревне Тугожилино. Отперли давно не действующий тугожилинский клуб, но он так промерз и такие в нем были полуразвалившиеся печи, что решено было переехать на центральную усадьбу, в починковский поссовет. Дом культуры закрыт — его еще летом начали ремонтировать наезжие с Карпат шабашники и затанули работу.

Пока подсудимого возили да водили туда-сюда, успели шустрые бабенки «незаметно» переодеть Веньку Фомина в чистое, покушать ему спроворили и даже выпить. Подруга Веньки Фомина, Анна Тимофеевна Тарыничева, все обиды простила ему, норовила быть поближе к «сердечному зазнобе», незаметно совала в карман сигареты, спички, конфетчики в замусоленных обертках.

Народу на суд навалило видимо-невидимо! Со всех окрестных деревень, одевшись в праздничное, селяне ехали на велосипедах, мотоциклах, гармошки зазвучали, выпивохи объявились. Скучно и монотонно живущий по полуопустевшим деревушкам люд был рад любому случаю собраться вместе, посудачить, расспросить друг друга о житье-бытье. Понимая, что причиной людского возбуждения является он, подсудимый держался гоголем, шибко жестикулируя, рассказывал что-то бабенкам, уловив момент, подошел к пострадавшему, хлопнул его по плечу по раненому и поинтересовался здоровьем. Венька Фомин знал от Анны — человек чуть не умер, на пенсию угодил — и, царапая затылок, хохотнул: лучше б, мол, было, если б Сошнин ткнул вилами его, — получал бы пенсию товарищ Фомин, гужевался в свое удовольствие, а Сошнин имай преступников да имай.

— Вопше извини! — посерьезнев, заключил Венька Фомин. — Не знал, што ты здешный! Здешных мужиков я берегу. Их мало.

Во время суда Венька Фомин был деловит, ревниво следил за тем, чтоб процесс шел по всем правилам, поправлял судью, заседателей, обвинителя и адвоката, если они что-то процессуальное нарушали или говорили не по уложению и кодексу. Уяснив, что Венька Фомин на практике постиг сложное дело судопроизводства, народ уважительно

его слушал — голова умная у человека, раз такую сложную науку превзошла, рассуждали бабы, да только вот дураку досталась.

Суд шел долго, канителью. Бабы-свидетельницы путали показания, которые от бестолковости, которые по наущению Анны Тарыничевой, чтоб Веньке Фомину меньше дали. И разнесся уже слух, что присудят ему три года, пошлют «на химию», потому как трудовых кадров нигде не хватает.

Но Сошнин знал: Веньку Фомина засудят на большой срок — третья судимость, и поднахватал он статей, одна хлестче другой, и отвалили подсудимому десять лет строгого режима. Он сразу протрезвел, заутирался рукавом, мелко затряслась рубашка на его спине. Бабы завyli в голос. Когда подсудимому предоставили последнее слово, он слабо махнул рукой. Анна Тарыничева, оттолкнув конвоира, с ревом бросилась на шею Веньке Фомину. Какой-то нездешний громила пьяно гудел: «Н-ниправельный экзамен! Фик-са! Чалиться в академии червонец? За что? Пришмотил лягавого? Их на наш век хватит. Н-ниправельный экзамен! Я не один задок имел, знаю, что за мокрятник полагается. Кассацию пиши, кореш. Не поможет — брызни!...»

Леонид вылез из духотищи поссовета, ушел на берег реки, в редкий соснячок, и оттуда видел, как увозили Веньку Фомина. На ходу, в сутолоке подконвойного успели «освежить» сердобольные бабенки, он обнимал зареванную покорную Анну Тарыничеву.

— Жди меня, и я вер-р-нусь всем чертям назло! — грозя костлявым кулаком, кричал в сельские пространства Венька Фомин. — Все ждите! Я, пала, покажу кой-кому, как рога сшибают! Я, пала, научу кой-кого свободу любить...

Леонид пообедал у Паши Силаковой и, не побывав у тещы с тещей, уехал в Хайловск на попутной, оттуда в полупустой, дремной электричке катил по родным болотистым местам, смотрел в окно на давно привычные, такие мирные, так прибранно зимой глядящиеся поля, деревушки, полустанки, путевые будки, на редко и черно торчащие в белых болотах дерева, на голотелье осинники, на пестрые березы, глядел, полностью отдавшись глубокой и уже постоянной печали. Нет, ему не жалко было Веньку Фомина, но и торжества он тоже никакого не испытывал, тем паче злого. Работа в милиции вытравила из него жалость к преступникам, эту вселенскую, никем не понятую до конца и необъяснимую русскую жалость, которая веки вечные сохраняет в живой плоти российского человека неугасимую жажду сострадания, стремления к добру, и в той же плоти, в «блезной» российской душе, в каком-то затемненном ее закоулке, таилось легко возбудимое, слепо вспыхивающее, разномысленное, необъяснимое зло...

...Молодой парень, недавно кончивший ПТУ, пьяный полез в женское общежитие льнокомбината, бывшие там в гостях кавалеры-«химики» не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню

набили морду и отправили домой, баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым встречным оказалась молодая женщина-красавица, на шестом месяце беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы приехавшая в Вейск, к мужу. Пэтэушник бросил ее под насыпь железной дороги, долго, упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он убьет ее, просила: «Не убивайте меня! Я еще молода, и у меня скоро будет ребенок...» Это только разъярило убийцу.

Из тюрьмы молодчик послал одну-единственную весть — письмо в областную прокуратуру — с жалобой на плохое питание. На суде в последнем слове бубнил: «Я все равно кого-нибудь убил бы. Что ли я виноват, что попалась такая хорошая женщина?...»

...Мама и папа — книголюбы, не деточки, не молодяжки, обоим за тридцать, занимали трех детей, плохо их кормили, плохо за ними следили, и вдруг четвертый появился. Очень они пылко любили друг друга, им и трое-то детей мешали, четвертый же и вовсе ни к чему. И стали они оставлять ребенка одного, а мальчик народился живучий, кричит дни и ноченьки, потом и кричать перестал, только пищал и клёкал. Соседка по бараку не выдержала, решила покормить ребенка кашей, залезла в окно, но кормить уже было некого — ребенка доедали черви. Родители ребенка не где-нибудь, не на темном чердаке, а в читальном зале областной библиотеки имени Ф. М. Достоевского скрывались, имени того самого величайшего гуманиста, который на весь мир провозгласил, вернее, прокричал неистовым словом, что не приемлет никакой революции, если в ней пострадает хоть один ребенок...

...Еще. Папа с мамой поругались, подрались, мама убежала от папы, папа ушел из дома и загулял. И гуляй бы он, захлебнись вином, проклятый, да забыли родители дома ребенка, которому не было и трех лет. Когда через неделю взломали дверь, то застали ребенка, приевшего даже грязь из щелей пола, научившегося ловить тараканов, — он питался ими. В доме ребенка мальчика выходили — победили дистрофию, рахит, умственную отсталость, но до сих пор не могут отучить ребенка от хватательных движений — он все еще кого-то ловит...

Жить можно по-разному, хорошо и плохо, ладно и неладно, справно и несправно. Вот его напарник по училищу и многим дежурствам, Федя Лебеда, жил справно и ни разу не то что не ранен, но даже не поцарапан. На участке у него дача почти в три этажа, да вся в резьбе, каминчик даже есть, в керамическом ободке, и керамика цветом, формой и колером напоминает ту же, какую безвкусно, зато дорого облицовано здание областного управления внутренних дел. На

даче Феди Лебеды много музыки, цветной телевизор, машинешка, хоть и «Запорожец», но все же своя — все, как у добрых людей, и все как будто не уворовано, не унесено, все на бедную милицейскую зарплату приобретено. «Жить надо уметь!» — заявляет пьяненькая Тамарка, жена Феди Лебеды, работающая официанткой в ресторане «Север». Хорошо, хоть увлеченная собой, искусством и чтением Маяковского, а может, из-за «надежных тылов» в деревне Полёвка Лерка не внимала этому лозунгу. Ну, не то чтоб не внимала, не придавала того первостепенного значения ему, как та бедная женщина, которую Сошнин видел три года назад в электричке тоже. Она сидела против него и почти всю дорогу плакала, навалившись на стенку вагона головой, утираясь сперва носовым платком, затем, когда платок намок и просошел, суконой косынкой, постепенно стягивая ее с беловолосой головы, не лохматой, а как бы свалывшейся в шерсть и неряшливой от давней завивки.

«Простите,— сказала женщина, перехватив взгляд Сошнина, и, немножко поправив волосы и себя, добавила: — Мужа я погубила. Хорошего человека...» — И снова захлебнулась слезами. Но ей хотелось выговориться, и она рассказала в общем-то очень простую историю, до того простую, хоть вой в голос от ее простоты.

Жили да были муж с женой. Скромные советские служащие, со скромной зарплатой, скромными возможностями. Много работали, любили друг друга. Пока не родились дети, дочка с сыном, бегали в киношку, хаживали в театр, по воскресеньям — на реку, зимой — на лыжах за город. Читали не очень чтобы много и не очень чтобы «настоящее», но читали, телевизор смотрели, за хоккей болели. Хорошо было им: росли дети, время катилось незаметно в трудах да в заботах. Но вот она стала замечать во дворе машины, за городом дачи, в квартирах друзей и знакомых ковры, хрусталь, магнитофоны, модную одежду, красивую мебель...

И ей тоже захотелось всего этого, и стала она подбивать мужа перейти на другую, более добычливую должность. Он уперся. Она его разводом стращать, разлукой с детьми. Перешел муж на добычливое место, и хоп — приносит домой денег сверх зарплаты аж на цветной телевизор! Во второй раз принес денег на целый ковер, а в третий раз... домой не вернулся. И ждать его теперь придется пять лет...

Вот была она у него в колонии, на первом свидании, привезла первую передачу. «Смотри, смотри на мужа-преступника! Любуйся! Ты этого хотела!..» «Я на колени перед ним, руки и ноги его целовала, а он от меня отвернулся, ни на что не реагирует, не плачет. Передачу не взял. Велел год хотя бы не показываться на глаза. Напоследок только и сказал, что детей ему жалко...»

Да-а, жизнь разнообразна, и жить в ней можно разнообразно. Вот совсем недавно, Сошнин уже был на пенсии, ночью сработала сигнализация в новом районе, в новой сберкассе, где и денег-то почти

не было. Федя Лебеда потихоньку, полегоньку из оперативников перебрался в ГАИ, затем во вневедомственную охрану, поехал на сигнал с молодым, только что окончившим училище сотрудником. У Феде Лебеде оружие, и все же к кассе пошел молодой безоружный сотрудник милиции. Подходит, видит: в дверях ковыряется человек. Ну и, как водится: «Ваши документы, гражданин...» Тот отвечает: «Шшас!» — лезет за пазуху, вынает пистолет и в упор тремя выстрелами валит милиционера.

Федя Лебеда, значит, живой, здоровый. В объяснительных объясняет, что объект-то совсем неопасный и кто ж его знал, что у обормота безмозглого есть оружие. Федя Лебеда был капитаном и работал на спокойном участке, стал старшим лейтенантом и сегодня дежурит по отделению, со спокойной, охранной работы его перевели на «непокойную», но он и здесь будет жить и работать по принципу: «Нас не трогай, мы не тронем...» И до майора, а то и до полковника дослужится. Молодой же парень сразу получил вечное звание — покойничек, потому как глупый был, по тайному, твердому определению Феде Лебеде. Сошнин с Федей учился, долгое время работал, и мысли и дела его нехитрые, уверенность в их незыблемой правильности знал он наперед. Хорошо хоть родился Федя Лебеда в годы, не подходящие для войны, он бы, попади на фронт, не одного молодого дурачка подставил под пули вместо себя и потом даже не вспомнил бы о них.

«Такая вот картина жизни», — заключил Леонид словами Алексея Демидовича Ахлюстина. «Се ля ви, трудно поддающаяся теоретическому анализу», — глаголет интеллектуалка Сыроквасова. «Эх, жизнь кубекова, обнял бы, да некого!» — вздыхает Лавря-казак. «В ей, в жизни, завсегда, как на рыбалке: то клюет, то не клюет...» — эта философия дяди Паши, пожалуй что, самая близкая к действительности и, главное, доходчивая, понятная.

Намотавший сто двадцать лет сроку тип, начавший молиться богу и учиться грамоте в вечерней школе родной колонии очень строгого режима, находящейся во-он за тем лесом, в торфяных болотах; Паша Силакова, гонящая на мотоцикле по сельским просторам пуще юноши; есть Маркел Тихонович, не пришедший на суд, чтобы «не разостраиваться»; теща, явившаяся в Починок в парадном костюме, в капроновых чулках, всем видом показывающая, что судят не того и не так, как надо; народ, воспринимающий судейское действие словно переживательный спектакль, — все-все это жизнь, в которой «то клюет, то не клюет», веселая, беспечная, немысленно суровая, непостижимо сложная и простая, как те вон, пролетающие мимо окон электрички тихие деревушки, леса, болота, медленно удаляющиеся сонные унырки в лес, собака, рвущая цепь у путевой будки, готовая укусить электричку.

Между тем Венька Фомин, измотанный судом, сморенный усталостью в пути и вином, спит за загородкой городской тюремной машины и ни о чем не думает, папы и мамы несчастных детей, пэтэушник, сгубивший юную мать, длиннее своей жизни мотающий срок знаменитый зэк с отстреленной в побеге рукой, в богоискательство ударившийся, — все-все это было до них и будет после них, — все это жизнь, все это реальность, товарищ Сошнин. Вот и осмысли ее, поднимись до понимания правды жизни, иначе зачем и для чего, не умея в руках держать топор, лезть в плотники?

Реальность, бытие всего сущего на земле, правда — сама земля, небо, лес, вода, радость, горе, слезы, смех, ты сам с кривыми или прямыми ногами, твои дети. Правда — самое естественное состояние человека, ее не выкрикнуть, не выстонать, не выплакать, хотя в любом крике, в любом стоне, песне, плаче она стонет, плачет, вздыхает, смеется, умирает и рождается, и даже когда ты привычно лжешь себе или другим — это тоже правда, и самый страшный убийца, вор, мордоворот, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все-все это правда, порой неудобная, отвратительная. И когда великий поэт со стоном воскликнул: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!» — он не притворялся, он говорил о высшей справедливости, о той правде, которую в муках осмысливают люди и в попытке достичь высоты ее срываются, погибают, разбивают свои личные судьбы и судьбы целых народов, но, как альпинисты, лезут и лезут по гибельно отвесному камню. Постижение правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней человек создает, не может не создать ту правду, которая станет его лестницей, его путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму.

Но зэк, набегавший за полжизни срок на две жизни, молящийся о спасении души, — все же нехорошая правда, бессмысленная правда, и страшнее она лжи.

Сошнин-таки осилился, заставил себя подняться с постели, помял перед зеркалом ладонями лицо — отчего-то оно так быстро заросло. Да нет, темно возле умывальника, или потемнело лицо от воспоминаний. Скорее всего, так оно и есть. Ведь перед самым походом в издательство, утром не ранним, высокoblился, намарафетился. Помочил расческу Сошнин, разодрал свалявшиеся волосы, погладил себя по голове и пошел за почтой. Под лестницей как было насвинячено, так все и оставалось: окурки, железные пробки, коробки от спичек и сигарет, рванье бумаги и фольги, растоптанные селедочные головы, куски хлеба. Здесь же, на газете, постеленной на пол, со всеми удобствами расположился посетитель: стакан, унесенный из автомата, в расковырянной фольге мертвое свечение плавленого сыра, надкушенное яблоко и темная, мрачная бутыллица бормотухи с подтеками на наклейке.

— Дру-у-уг,— раздалось из-под лестницы,— какое сейчас время?

— Утро.

— Утро? Вот еще одно утро наступило. Бегит время, бегит... Так и жизнь пробежит...

Леонид поднимался по лестнице с газетами, сопровождаемый романсом: «Утр-ра туманна-а-ая, утр-ра се-эда-а-аеэ, даали ла-зуррныя, мрракам покрытыи»... Гость седьмого дома оказался меланхоликом. Певцом-меланхоликом.

В газету вложено письмо от Маркела Тихоновича. Сошнин его нетерпеливо разорвал.

«Добрый день! Веселый час! Дорогой мой сынок Леня.

Изболелось мое сердце об вашем здоровье. Были бы у меня крылушки, прилетел бы к вам. А не улетишь. Корова на дворе, что якорь на корабле,— держит. И хозяйство всякое кругом, да старуха одна боится ночью. Раньше никого не боялась: хоть ей черт, хоть ей поп, хоть муж, но нервя ее здала в боях с врагами социализма и со мной...»

Леонид улыбнулся и пошел скакать по письму, чтобы основательно перечитать его перед сном.

«Дошел до нас слух, вы опегь с женоу в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть — ниче не придумаш. Токо одно скажу: нам, мужикам, надо и жалеть их, дур. Куда оне без нас-то? Говорил я тебе или нет, как в сорок девятом году уходил из дому — не стало мочи. Пристал я к одной хорошей жэншине, из соседней деревни Тугожилино, вдове,— еще смолоду мы с ней знались. Починил ей домишко, скарб весь уладил, колодец почистил, скотину обиходил, живем, друг дружке не нарадуемся. А моя-то, Толька-то, совсем запурхалась, ниче ведь не умет, токо лаяться и выступать. Приходила страмотить, окна била. Я забеспокоился: Толька в нормальном состоянии за домом не следит, что тогда в ем деется, когда она в нервном приступе. Приковылял, как подневольный. Все у их запущено, не сварено, корова не продоена, на всю деревню орет, пчелы с дому их не выпускают. Лерка золотухой обросла. И что мне свою судьбу тешить? Эти ж пусть пропадут? Так и остался. Старуха блудней меня кличет, на месте действия, говорит, захватила...»

Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? Не до самой смерти — чтоб прочувствовала. Да как побьешь? Жалко. Баба. Мать дитя малого.

Жду ответа, как соловей лета! Приезжайте со Светланкой хоть после Нового года, хоть когда. Мы завсегда вам радые. Корова отелится, молочко свеже будет — это хорошо для здоровья. В жись вашу я не хочу встревать и старухе не даю, но так жалко всех вас — изувеченный на охране опшэственного порядка, залег ты в квартере,

как в берлоге, — ни сварено, ни топлено, так вот и слезы у меня на бороду...»

В Новый год Маркел Тихонович наденет синий костюм с давно и прочно к нему прицепленными наградами, выпьет медовушки, дружелюбно и блаженненько улыбаясь, станет угощать соседей, потом подопрется рукой и запоем: «Разбедным-то я бедна, плохо я одета, ништо замуж не берет деушку за это...». Евстолия Сергеевна высокомерно махнет на него рукой: «Ну, была у волка одна песня, и ту перенял!» — и ударит вперешиб, звонко, сорванно, непримиримо: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы к счастью ключи!» И старушонки радостно и слаженно вторят: «Ключи! Ключи! Ключи!» Взгляд Чащихи посуровеет, сталью засверкает, лоб от висков бледностью прошибет. Воинственно глядя на растяпу-мужа, на убогих старушонк, звякнет хозяйка по столу кулаком: «И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!»

Старушонки в привычный подхалимаж: «Да уж не зря, конечно, эстолько благодарствий и грамот тебе дадено, Толя, не зря! Борьба — есть лизурьтат».

Чтобы не портить праздника, не ввязываться в ор со старухой, которая искренне верит, что она для Родины и для родных полей сделала куда больше, чем все эти землеройки, в том числе и ее мужтугодум, сунется Маркел Тихонович в угол, где вместо икон стоит телевизор «Рекорд», — по нему катаются фигуристки в одних трусиках да в тоненьких чулках, юбчонки до пупа задираются.

«Страм-то, страм экий! Куда токо родители смотрят? Да и власти тоже. Худородные ж от простуды девки сделаются, станут робят рожать, в солдаты негодных, хто Родину защищать будет?» — тревожится у телевизора Маркел Тихонович. Евстолия Сергеевна с визгом катит срамное: «Это он, девки, ждет, ковды с фигуристок трусики спадут! Да не спадут, не спадут. Нонче знаешь, кака резинка? Синтетическа! Это у нас ране — веревочка лопнет... альбо ухажоры порвут — пляшешь со штанам в беремья...»

«Так-так, Толя! — поддакивают подружки. — Худа жись была. Теперь што не жить? Бело стряпам. Здоровье бы токо было...»

Курица давно сварилась. По квартире плавал запах водорослей или тот неотступный запах тугожилинского телятника, который не покидал Сошнина с тех пор, как он без сознания барахтался в навозной жиже. И крыса, как он переутомится или перенервничает, мучает его во сне, бьется, ползет по уговратому асфальту, а ее с криком добивают, клюют в голову вороны.

Вяло, безо всякого аппетита ободрал Леонид зубами лапу склизкой, словно в мыле сваренной курицы. Попил чаю. Попробовал пристроиться к столу, стол шатался, скрипел, вечерами отчего-то кричал даже, и вечерами, в непогоду сильнее болела нога, жгло плечо. Сегодня болят они совсем невыносимо — шевелил суставы, потревожил раны,



лупцую изо всей дурацкой силы подонков, которые и без его помощи сопьются и подохнут.

Из отделения не звонили, значит, битые им молодцы никуда не завляляли, перевязались, отсморкались, выпили «микстуры» и спят где-нибудь сном провальным, пьяным, и ничто-то их не мучает, не тревожит, и сердце у них ни о чем и ни об ком не болит.

Лежа на диване, Сошнин протянул руку к телефону и, не зажигая света, на ощупь набрал номер. Ответили вопросом: «Кого надо?» Он сказал кого. Слышно было, как стучали из коридора в стену.

— Привет медицине! У вас телефон сегодня, как часы.

— Не успели трубку оторвать. Как жизнь?

— Восхитительна.

— Что-то случилось?

— Почему ты так решила?

— Иначе бы ты не позвонил. Тебе снова нужно мое утешение? Защита от врагов?

— Да нет. Врагов я уже сокрушил.

— А-а. Вот это уже серьезно. Где? Кого? Сколько?

— Дома. Под лестницей. Троих.

— Медицинскую помощь оказали?

— Не потребовалась.

— Дождешься, мент удалой! Достукаешься! Всадят тебе нож в спину...

В ответ на «мента» он хотел сказать «примадонна», но сдержался и похвалил себя: «Во, молодец! Вымуштровали!..»

— Чего жрешь-то?

— Курицу варил. Отец письмо мне прислал.

— Мне тоже. И еще мяса. Свиною они закололи... к Новому году.

Сошнин почувствовал, как она споткнулась, чуть не сказав: «к нашему приезду». Ему бы поддержать «завзвучавшую струну», навстречу человеку двинуться, но он же остряк-самоучка, гордый, современный, ловкий на слово человек.

— Тебе лучше,— сказал и добавил: — Между прочим, отец советует тебя побить.

— Это он вычитал в любимой газете «Сельская жизнь», в серии «Полезные советы». Только подожди, стирку закончу, приберусь, приготовлюсь. Да вот еще остановка — бить-то сделалось нечего.— Лерка перебарывала слезы.

Оба замолкли.

— Если у тебя ничего срочного... Я, правда, стираю. Светка возле машины.

— Да-да,— спохватился он.

— Чтобы разогнать мерехлюндию, возьми на выходные Светку. Она тебя развлечет. Первоклассница смышленная и современная. Услышала о диких заработках на БАМе и собирается по окончании

школы туда. Ее интересует также, где учатся на артисток? С какого класса разрешают носить золотую цепочку и сережки? Сколько раз в жизни случается любовь? Откуда берутся дети? И многое другое, что бесплатно преподается в нашем веселом доме. Боюсь, твоих гонимых не хватит на нее сряду. Ой, я побежала!

— Постой-постой! Светка ко мне, а ты куда?

— Как куда? На свиданье. Сватает меня сосед-бульдозерист. Сердце его ласки просит... он себе подругу жизни ищет. Четыреста в месяц заколачивает...

— Бульдозерист в мазуте, а у тебя должен быть стерильно чистый халат.

— Отмоюсь. Сейчас такая химия... Ой, я, правда, как на иголках. Светка не сунулась бы в машину. Чрезмерно девица любознательная.

— Тогда до свидания!

— До свиданья! Звони, когда будет настроение. Точнее, когда не будет.

— Лады.

— Н-ну, я пошла.

— Н-ну, ты, если что...

— Что «если что»?

— Ладно. Я все понял. Спокойной ночи!

— А тебе наоборот!

— Да, попробую поработать.

— Всякий труд благослови, удача!

— Благодарим. Постой!

— Чего еще?

— Ты тетю Граню давно видела?

— А-а, вон ты о чем? Нет, недавно. Чешет по улице Мира, корóбок беремья прет. Она теперь в Доме ребенка работает. Вещички детские собирает.

— Как она туда попала?

— Очень просто. В больнице лежала известная всем Алевтина Ивановна Горячева — заведующая Домом ребенка. Не могла же она не уманить за собой такой кадр.

— М-да-а. Это, значит, тетя Граня барахлишко — побоку, детям в помощь, родители которых пируют на просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде.

— Всегда так было: кто-то бросает, кто-то подбирает... Ой, побежала я! Надо успеть Светку выкупать и уложить. Должна тебе заметить: изо всех твоих потерь тетя Граня — самая непростительная. И утешений на этот счет не жди.

— Что делать? Значит, жизнь в самом деле серьезнее, чем я думал.

— Ты становишься интеллигентом! Самая это первая отговорка современного интеллигента, чтоб мусорное ведро не выносить... Ой, отпусти, ради бога! — С этими словами Лерка убежала.

Сошнин долго не клал трубку. И слышался в потемках телефонный шумер, звук из того, другого, многолюдного, делом, словом и весельем занятого мира.

## Глава восьмая

К нему, к тому, к другому миру и потянуло Сошнина. Он запер дверь, спустился вниз. Под лестницей мирно спал, уронив пустую бутылку на бок, чужой человек.

«О, господи! До чего ж надоело!»

На улице подмораживало. Уже не капало, лишь сочилось с крыш, удлинялись четко по желобам шифера прочерченные сосульки, и на конце каждой из них звездочкой мерцала остывающая капля. В небе тоже процарапывались сквозь муть и хмарь кособокие звезды. Яснее светились огни на железнодорожной станции, теснее и дружнее сдвинулись многоэтажные дома города, и лишь по берегу реки фонари все еще плавали желтками в яично-белесом испарении. Холмы, все отчетливей проступавшие за станцией, как всегда, полны были тайной задумчивости и значения, и гуще всюду светились фонари и окна окраинных деревянных поселков.

Со станции слышались объявления — как раз принимали поезд на Ленинград, и Сошнину до крику захотелось уехать на край света, уехать тихо, тайком ото всех, прежде всего от себя. Он еще раз позавидовал тем, кто куда-то и зачем-то ехал, были у людей какие-то цели, занятия, думы, что-то или кто-то тянул их или толкал вдаль, в дорогу и, может быть, где-то даже ждал..

В половине двенадцатого со станции Вейск отправлялся напوماженный, фирменный поезд на Москву — «Заря Севера», и возле раскрытых ворот задом к перрону почтительной чередой стояли разных марок машины, среди них черная «Волга», по номеру давно известная Сошнину, — на этой машине возили важного ныне человека в городе — Володю Горячева.

Дядя Володи Горячева был начальником Вейского отделения железной дороги, крутой, видный местный руководитель и общественный деятель, много полезного делавший для транспорта, города и народа. Жена его, Алевтина Ивановна, добрейшей души человек, отчего-то не могла рожать, и, когда в родной деревне Горячевке умерла многодетная сестра Горячева, решено было взять из деревни младшенького, Володю. И взяли. И полюбили. И растили, балуя. Парнишка рос дерзкий, настырный, рано устремленный к самостоятельности, и, конечно же, такой «кадр» не мог не спуститься с «горы» — так назывались насыпи, на которых стояли дома железнодорожных управленцев и само управление отделения дороги, и не примкнуть к трудовому народу в тети Гранином тупике.

Работал, пластал одежонку Володя Горячев. Спускалась Алевтина Ивановна в «низ», пробовала воздействовать на Володю и изъять его из трудового коллектива, да где ей в одиночку-то совладать с обществом.

Однажды Володя заболел, лежал с температурой, ничего не ел, криком выживал из дому Алевтину Ивановну, требуя печенок и горьких яблок. «Испортила ребенка, изуродовала! Со шпаной разной связала! Отвечай!» — наступала на тетю Граню Алевтина Ивановна.

Задумалась тетя Граня: никакими яблоками она ребятишек не кормила — нет у нее на яблоки средств. Но просияла, о чем-то догадавшись, завязала в узелок две печеные картошки, горстку луковичек, щепотку серой соли и отправила гостинец дорогому работничку. И сожрал ведь, сожрал, барчонок, все дотла, нарочно выпачкав печенками белоснежную скатерть, и пошел ведь, пошел на поправку: поправившись, неслух опять спустился с «горы» на железную дорогу — работать.

Володя Горячев окончил школу, конечно же, с золотой медалью, потом технологический институт, конечно же, с отличием, потом еще в академии какой-то пообретался — и пошел чесать в гору, только уж не железнодорожную, в строительную гору. Быстро освоился с большой должностью и достойно, насколько это возможно в наши дни, хозяйевал в самой крупной строительной организации города Вейска — «Вейскгражданстрое», где насчитывалось более десяти тысяч трудящихся, сколько там бездельников — не ведал даже сам руководитель треста.

Сошнин встречался с Горячевым чаще всего в облизполкоме, где дежурил на тихом месте после того, как выписался из больницы с хромой ногой.

— Здравия желаю, гражданин начальник! — всегда одинаково приветствовал давнего соратника по труду на желдортранспорте Володя Горячев и, подержав у виска руку, совал ее, будто лопату в землю, и нарочно стискивал чужую руку, проверяя силу.

— Добро пожаловать, будущий «химик»! — охотно откликнулся Сошнин и так сжимал руку Володи Горячева, что тот приседал.

— Сразу и «химик»! — тряся холеной уже кистью в воздухе, бурчал Володя Горячев. — С такой-то силушкой в инвалиды затесался!

— Нам без этого нельзя, — ухмылялся Сошнин. — Без силы с вашим братом не управиться. Вот ты, я отчетливо это вижу, непременно попадешь в руки правосудия и прямым путем на «химию». Воруете потому что.

— Мы не ворует, мы экономим.

— Слышал, слышал по местному радио. — Сошнин постукал ногтем по ящику радиоприемника. — «Вейскгражданстрой» сэкономил тысячи тонн бетона, кирпича, железа, стройматериалов. Вам, видать, лишнее дают?

— Ага. Жди. Догонят да еще дадут! Когда от многого берут немножко, это не воровство, это дележка! Помнишь золотое наше детство, «Путевку в жизнь»? Помнишь?

— Я помню все, что ты не позабыл...

— Мы что? Детсадовцы. В Сибири вон шустряги-ребята решили миллиард сэкономить. Вот это масштаб!

— Миллиард? Стырить?!

— Ну и поднабрался ж ты у своих клиентов! Ничего не надо тырить. Если сибиряки подберут брошенный на реках и в тайге лес, достроят незавершенку и наведут порядок в сельском хозяйстве, они не миллиард, пять миллиардов, может, и десять народу вернут. Да еще и с извинением; вот, мол, наши предшественники разбазаривали, проповали, а мы хорошие, мы собрали!

— Эко место лисапед!

— Вот тебе и место! Вот тебе и лисапед! Так, значит, говоришь, «химии» мне не миновать?

— Вполне возможно.

— Новая эра жизни надвигается! Прямо оглянуться некогда, все эры, эры...

Провожали какое-то столичное «сиятельство», и оно, обласканное дружески настроенным народом, пьяненько куражилось, никак не могло попасть в широко распахнутую дверь вагона, вываливалось оттуда на готовно подставленные заботливые руки. И «сиятельство»-то, судя по одеянию и непородистому, вбок скатившемуся пузцу, не очень уж и большое, из главка или из министерства, с этажа не выше, чем со второго, но, поди ж ты, вейская «общественность» привалила на станцию, высыпала на перрон. Главный инженер «Вейскгражданстроя» Ведерников тут был, юркий пустозвон — профсоюзник Хаюсов: как же без него-то? Две дамочки-общественницы, числящиеся за отделом техники безопасности. Добчинский и Бобчинский из конструкторского отдела, недавние еще студенты политеха, и другие, более сдержанно державшиеся, подвыпившие личности.

В стороне ото всех томился, весь в красных пятнах на хмуром лице, Володя Горячев. Он тоже делал «сиятельству» ручкой, вымученно ему улыбался, пил возле вагона с гостем, когда его подозвали, из одного фужера коньяк, и общественницы, хлопая в ладоши, разгоряченно кричали: «Пить до дна! Пить до дна!» Им вторили Добчинский и Бобчинский, характеристiku коим Николай Васильевич Гоголь составил так, что лучше уж составить невозможно, и поэтому напомним ее с извинительным поклоном в сторону нашего гениального классика: «Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский — городские помещики... оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими

брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жёстами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского».

Вейские Добчинский и Бобчинский имели в именах разницу с гоголевскими персонажами: одного звали Эдиком, другого — Вадиком. Кроме того, одеты они были не в сюртуки тонкого сукна, в современные парадные костюмы заграничного покроя одеты были технические чиновники. На отворотах пиджаков, из-под распахнутых югославских дубленок цвета топленого молока то и дело выныривали голубые «поплавки», имеющие смысл показать, что эти люди с очень высшим образованием. Вместо коков Добчинский и Бобчинский имели гривы, вставных зубов, несмотря на молодость, у них был полон рот, печатки на пальчиках, запоночки золотые, галстуки тонные, не иначе как с арабских или персидских земель завезенные. Добчинский и Бобчинский с умелой готовностью поддерживали под круглую попochку «сиятельство», а оно все норовило ускользнуть, вывалиться и то и дело, к восторгу Добчинского и Бобчинского, вываливалось. Дамочки-общественницы с визгом гонялись по перрону за шапкой, с умилением ее пялили на высокоумную плешь дорогого гостя.

Тем временем в вагон подавались сосуды и банки с маринованными белыми грибами, ивовые корзины с мороженой клюквой, местное монастырское сусло в берестяных плетенках, на шею «сиятельству» надеты были три пары липовых игрушечных лаптей, в узорчатом пестере позвякивали бутылки, в пергаментной бумаге, перевязанной церковной клетчатой ленточкой, уезжала из Вейска еще одна старинная, в свое время недогубленная деревянная иконка.

В хороводе бегал, гакал и ослеплял всех блицами расстегнутый до пояса, распоясанный, вызывающе показной и пьяный местный «боец пера» Костя Шаймарданов, которого Сошнин недавно в больнице, куда тот пришел «отражать» его героический поступок, уговаривал проехать по деревням Хайловского района и выступить в печати серьезно и принципиально в защиту деревни. «Зачем ему, лизоблуду, деревня? Зачем?».

Поезд «Заря Севера» уважительно тронулся; почтительно отстранив гостя, одетый в парадную форму, величавый проводник вагона поднял железный фартук. «Сиятельство» меж тем все махало собольей шапкой, посылая воздушные поцелуи народу. Дамочки-общественницы рыдали: «Приезжайте! Приезжайте! Милости просим! Всегда пожалуйста!..» Добчинский и Бобчинский, спотыкаясь, бежали за поездом, норовили дотронуться до «ручки», и будь у поезда скорость гоголевских времен, они б и до Москвы добежали, не заметив того. Но на дворе двадцатый век! Поезд бахнул буферами, хрустнул железом, взвыл моторами электровоза — и умчался, оставив сиротски одинокие фигурки Добчинского и Бобчинского на замусоренных и унылых желдорпутях, аж почти за станцией, возле пункта технического осмотра вагонов.

Сошнин хотел пройти мимо Володи Горячева, но тот, видать, давно его заметил, кивнул и пошел рядом, глядя вдаль, в пустые небесные высоты. Пятна с его лица не сходили, он, как казалось Сошнину, про себя матерно ругался.

— Вставь! Вставь в комедию! — цедил Горячев сквозь зубы. — Да не забудь в финале помянуть, что в главке теперь удовлетворяют все наши заявки. Этот сиятельный штымп всех нужных людей известит, что в Вейске принимают лучше, чем, скажем, в Чебоксарах. Лавочки своей у него нету, «Пограничник стоит на пастуху!» — поет мой Юрка, значит, у буржуев ничего не упрешь, у своего народа, в родном отечестве, будет красть, химичить, отдаст нам предназначенные в Чебоксары скреперы, машины, дорожные вагончики, обеспечит технику за частями. Мы выполним план по строительству жилья, досрочно сдадим птицефабрику, пустим свинокомплекс, достроим, наконец, театр юного зрителя! Всем будет хорошо: рабочим, крестьянам, интеллигенции. В Чебоксары же выговора за невыполнение плана полетят, кой-кого с работы сымут... Тыфу, распро... — плюнул под ноги Володя Горячев. — Когда это кончится и кончится ль? — С отроческих лет, не глядя на настойчивые потуги Алевтины Ивановны, Володя Горячев так и не обрел солидности в поведении. Алевтина Ивановна, доживающая век у Володечки, при крутых его выражениях хватается за сердце и всем втолковывает, что он, как и дядя его родимый, распустился на руководящей работе, после академии с ним вовсе никакого сладу не стало, и изо всех сил пытается оградить от дурного влияния отца душу невинную и чистую — внука Юрочку.

Володя Горячев открыл дверцу «Волги», кивнул:

— Садись, гражданин начальник, подвезу. Глядишь, потом передачу в тюрьму без очереди пропустишь.

— Спасибо, Володя, я пройдуся.

— Нога-то болит?

— Что нога! — Увидел, как от машины к машине мечется с фотоаппаратом Костя Шаймарданов и взывает: «Поехали, мужики, поехали! В трапезной на столах всего еще навалом! Не пропадать добру!..» — Что нога...

— Пройда! — поморщился Володя Горячев, услышав Шаймарданова, и, держась за дверцу машины, похвалился: — Мы теперь не в ресторане гостей принимаем. В бывшей трапезной монастыря! Квасом хмельным поим, преснушками кормим, бочковой капустой, грибами, ухой из сушеного снетка... Во, на каком уровне бьемся за прогресс и план! — Серdito хлопнув дверцей, усталый начальник умчался на машине доругиваться, достраиваться, изворачиваться, сдавая объекты к сроку и досрочно, — словом, работать и соображать, работая.

Возле Сазонтьевской бани, уже закрытой, Сошнин наткнулся на пегую лошадь Лаврю-казака — тот никак не мог расстаться с дружками — дядей Пашей, старцем Аристархом Капустиным и еще каким-то устойчивым выводком бывших вояк, на глазах Леонида составившихся. Леонид перехватил вожжи, развернул телегу, велел гулякам садиться, разрез их по ближним домам, последнего потартал к жене — Лаврю-казака.

— Это ж он, сопляк, чуть тебя на тот свет не спровадил, а? Я, понимаешь, собирался к тебе в больницу, но конь же на руках, жена преследует, ходу мне не дает никакого, особо по вечерам. Показаковал я по Вейску после фронта, ох, показаковал! Вышел из доверия. Леш, а выпить тебе ни-ни? У меня есть. Во! — Лавря-казак вынул из-за пазухи бутылку темного стекла с наклейкой «Деготь колесный».

— Нельзя, дядя Лавря, ни граммулечки!

— Вот, собака, как спортил человека! Леш, а ты, можа, моего рысака?.. Я, кажись, отяжелел...

— С удовольствием, дядя Лавря! Только я тебя домой сперва, ладно?

— Лады, Леша, лады. А раненье заживет до свадьбы. Заживе-от! Я эвон как израненный — и ничаво! Ни-ча-а-во-оо! И выпью. И к старушонке еще ковды наведуся, хе-хе-хе. Прости меня, старого дурака, Леш! Вино хващается. А баба час мне такова бою даст, что фронт игрушкой покажется!..

Доставив Лаврю-казака до дверей квартиры, Сошнин поскорее скатился вниз и погнал лошадь, потому как жена фронтового казака, словно по сигналу боевой трубы, набрасывается на того, кто является с мужем. И кабы дело кончалось одними обвинениями. Можно и веника отведать.

Толсто обитая старыми спецодежными штанами дверь в нижней квартире была приоткрыта, и, как только двухпудовая гиря, еще до войны унесенная с товарного двора во вновь тогда построенный дом номер семь, бацкнула за спиной Леонида в почти напополам уже перетертый косяк, на привычный удар, сотрясший деревянное строение, выглянула бабка Тутышиха, поманила его пальцем:

— Леш! Леш! Подь суды! Полюбуйся! Че у нас есь-то.— И закатилась счастливым мелким смехом.

В передней комнате перед зеркалом крутилась внучка бабки Тутышихи, Юлька, и тоже заливалась смехом от ослепляющего счастья. Мечта Юлькина исполнилась: на ней был бархатный костюмчик темного, неуловимо синего или черно-фиолетового цвета, с золотой полоской по карманчику и бортам. Но главное в туалете — штаники: с боков в ряд медные кнопочки, и здесь же — о чудо! о восторг! — колокольцы, по три штуки на гаче, но как они перзваниваются — симфония! Джаз! Рок! Поп! — все-все вместе в них, в этих кругленьких колокольчиках-шаркунцах, вся музыка мира, все



искусство, весь смысл жизни и манящие тайны ее! Плюс к темному-то костюмчику белоснежная водолазочка италийского происхождения, туфельки на дробном каблучке, выкрашенные золотом, пусть и сусальным, паричок шелковисто-седой, как бы нечаянно расстрепанный.

— Ой, дядя Леша! — бросилась на шею Леониду Юлька. — Я такая счастливая! Такая счастливая! Это папа с мамой мне привезли. В Риге у моряков купили. Дорого, конечно, но зато уж!..

«Откупились! Опять откупились от родного дитяти», — сморщился Сошнин, разжимая костлявенькие руки Юльки и снимая их с шеи.

— Задавишь еще от восторга чувств!

— И задавлю! И задавлю! — почти в беспамятстве взвизгивала Юлька.

На столе бутылка «Рижского бальзама», чекенчик беленькой, горсть копченой ряпушки, второпях, неумело открытая банка шпрот, яблоко насыпью, обломок рижского ржаного хлеба в бумажной обертке и еще что-то, крошеное, мягое, впопыхах на стол набросанное. «И от бабки откупились!» — отрешенно вздохнул Сошнин, изо всех сил изображая на лице счастливое сопереживание.

— Поздравляю, Юлька, поздравляю! Тебе очень идет! — как можно радостней говорил Леонид. — Женихи железнодорожного поселка, да что там железнодорожного, всех поселков! Всех улиц и районов города Вейска считай что на шампур надеты! Шашлыки!

— Да ну тебя, дядя Леш! Всегда ты меня высмеиваешь. Нет, правда, идет, дядя Леш? Правда? — отступая от него, как бы в шутку кокетничая, подергивала Юлька штанишки так, чтоб звенели колокольцы.

Бабка Тутышиха от восторга приплясывала и била в ладоши.

— Выпей, Леш, со мною! Такая у нас радость! — предложила бабка Тутышиха от щедрот своих, налила в рюмочку одного только «бальзама». — Пользительный напиток. Тебе не дам! — вытаращилась она на внучку.

— А мне и не надо. Я пробовала — он горький. Шампанское — вот это да!

Леонид отлил из рюмочки, разбавил «бальзам» водкой и, наказав бабке не пить больше, собрался домой.

— Тебе, можа, Леш, сварить че надо? Пол вымыть? Мы придем. Цыть ты, мокрошшелка! — прикрикнула бабка Тутышиха на внучку. — Скидавай кустом!

— Ой, баб! Я в общежитие к девочкам сбегая, ладно?

— Ну,мотри! Одна нога здесь, друга там, — разрешила бабка.

Леонид, подавив вздох, поднялся к себе — времени без малого два часа ночи. Юная модница побежит показывать наряд, бабка тем временем добавит, уснет. Юлька явится на утре, может, и совсем не явится. Вабка заругается, зашумит на внучку, полотенцем помащется...

## Глава девятая

В железнодорожном доме номер семь, у сына своего, Игоря Адамыча, бабка Тутышиха появилась лет восемнадцать, может, двадцать назад, но казалось, что она тут жила вечно, никуда не уезжала и ниоткуда не возникала. А между тем у бабки Тутышихи была очень разнообразная биография и довольно-таки содержательная жизнь. Бабка Тутышиха говорила про себя, махая рукой за окошко, что она родом «оттэль, с западу». Была она буфетчицей при железнодорожной станции, рано пристрастилась к вину и мужскому полу — от увлечений такого рода до преступления путь близкий: сделала растрату и угодила перевоспитываться в женскую колонию, аж за Байкал. Там строили железную дорогу. Длинную. Работы было много. В основном земляной. Зойке-буфетчице дали большую лопату и поставили на отсыпку полотна. А она к тяжелой работе непривычна, с детства непривычна. Мать ее, повариха станционного ресторана, дочь никакой работой не неволила, известно издавна: у ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочь изважена.

Покидала Зойка лопатой землю день, другой, неделю — не нравится ей эта работа. И тогда мимоходом, совсем нечаянно, она стала «зацепляться» плечом за конвойного начальника и взвизгивать: «У-у, кареглазенький, чуть не свалил на землю...» И как ни туп был начальник конвоя, все же тонкий намек понял, пригласил Зойку к огоньку, дал закурить — не прошло и месяца, как Зойка-буфетчица с общих работ перевелась в столовую посудомойкой, ну, а оттуда рукой подать до заветной должности, до комсоставского буфета, где Зойка блюла себя, стало быть, помногу на глазах у начальства не запивала, с женатыми мужиками не гуляла.

Белокурая, остроглазая, телом кругленькая, беспрестанно улыбающаяся, когда кого надо подсахарить, рассыпающая звонкий беззаботный смех, она безбедно отбыла положенные три года и отправилась со справкою в кармане в направлении запада. Но ехать туда далеко, а долгожданная свобода манила соблазнами жизни. Ехала Зойка, ехала, видит: станция какая-то, возле станции сквер со скамейкой, на скамейке, обсыпанной желтым листом, сидят два мужика, меж ними поллитровка, огурец большущий на газете и кирпич хлеба.

Зойка сошла с поезда и говорит мужикам:

— Налили бы.

Те налили. Разговорились. Хватилась Зойка — поезд-то ушел! Но она помнила, что он шел на запад, торопиться же ей было некуда и не к кому. И пошла она по линии, на закат солнца, где солнце закатывается — там запад, помнила она со школы. Шла-шла — притомилась. Видит впереди: будка стоит, желтым крашенная. Вокруг будки

строения всякие, ограда, колодец сбоку будки, с ведром, собака на цепи сидит, на железнодорожную линию смотрит, кого-то ждет.

Зойка свернула с линии. Собака на проволоке как поперет, как оскалится и ры-ры-ры на Зойку. «Ну, съешь ты меня, пес. А народу в Эсэсэре двести милеенов. Еще сколько останется? То-то! Всех не переешь!» Через какие-то минуты, все осознав, все поняв, пес, как тот конвойный начальник, лежал у Зойки головой на груди, целовал ее в губы, облизывался сладостно, вилял хвостом, преданно взвизгивая.

В ограде, за постройками, курицы порхались, на задах, за дверью низкой постройки, грузное тело завозилось и свинячьим голосом пожаловалось на одиночество: «Ах-ах, ах-ах». На огороде, меж еще не срубленных вилков капусты, ходила корова, жевала что-то. Завидев Зойку, замычала: «Му-ы-ы!»

— Мы, мы,— откликнулась Зойка, подошла, обняла корову за шею, слезой горемычных женщин прошибло. Ласковая, добрая корова была под цвет пожухлого листа, на лбу белая пролысина, и один у нее рог, как положено, над головой, бледным месяцем светится, другой почему-то вперед, почти на глаз упал, не иначе, как хозяин пожевал его с похмелья.

Будка была не замкнута. Зойка вошла, осмотрелась. О две половины будка, с русской печью и подтопком. В первой половине, что потеснее, кухня со всеми принадлежностями; за перегородкой, сбитой из вагонки и обклеенной газетой «Гудок», горенка с казенной кроватью, со столом изо всего дерева. На окошке цветы, в простенке — рамы с карточками, справа буфет с посудой, слева шкаф и вдоль стены деревянный вокзальный диван. На всех изделиях по дереву вырезано строгое «МПС», «МПС»...

Ничего помещение, обставленное, только на всем обиходе лежит отпечаток мужской грубой руки и пахнет керосином.

Однако поверх керосинного духу козырем все крыл запах наваристых мясных щей. Зойка заглянула в печку — так и есть! В загнете стоит чугунок со щами, рядом, в сковородке, до корки запекшаяся драчена из картошек. Зойка проголодалась и все это приготовление из печи достала, найдя еще в сенцах кадку с огурцами и на печи в корзине крупные помидоры, иные уж с гнилью. Накрыла на стол гостья и остановилась середь помещения, соображая. В углу икона какой-то святой девы с угасшей синей рюмкой — лампадой. Зойка открыла сундук, придвинутый к заборке. Нет в нем искомого. Еще посоображала Зойка и с гиком бросилась в сенцы, там ларь, возле ларя корыто с песком, в ларе керосин в бидонах, фонари, лопаты, путевые башмаки, фляги, банки, петарды и всякий железнодорожный инвентарь. Над ларем аптечка, и, конечно, в аптечке — где же и быть-то ему больше? — спиртик в баклажке, в алюминиевой, тоже с буквами «МПС». Зойка развела спиртик в стакане, дождалась, когда, возмущенный водкою, химический продукт поуспокоится, выпила его

досуха и с большим аппетитом пообедала. Во щах был хороший кус свинины, она его братски разделила пополам, спиртику тоже еще развела и оставила на столе, закрыв бумажкой, чтоб не выдохлось питьё. Подумав еще маленько, Зойка отнесла остатки еды кобелю, называя его Полканом. У пса было другое имя, но с этого дня кобель презрел его и забыл навсегда, приняв, будто награду, то званье, которым его нарекла гостя, как оказалось, долгая.

Прибрала Зойка на столе, спать захотелось. Открыла она постель — мужиком пахнет, наволочка давно не стирана и накидка тоже. Зойка достала из сундука простыню, наволочку, полотенце, сходила к колодцу, вымыла ноги, озырнувшись на лес, и повыше чего помыла, содрогаясь от холодной воды, личико свое сытенное, от воды заалевшее, руками погладила, по волосам гребешком прошлась, заглянув в настенное зеркало, и подмигнула себе левым глазом — уж что-то, подмигивать она умела!

Адам Артемович Зудин — путеобходчик, как и положено Адаму, был еще холост, Еву еще не приобрел. Наведывались иногда в будку Евы со станции либо из путевой казармы, что за двенадцать верст от его поста, но, быстро заглохнув в таежной местности от однообразной жизни, сбежали. И вот возвратился Адам с линии, с железнодорожного обхода — мамочки мои! В его будке, в определенном ему железной дорогой казенном помещении, на его кровати спит Ева, белокуренькая, лицом посвежая. Святая женщина, не иначе! Вошла в жилище, все, что требовалось, нашла, покушала, выпила — и с половины все, с половины! Так и положено Еве: Адаму-работнику оставлять половину всего, потому что она и зовется половиной, — по-божески, по справедливости людям жить полагается хоть на том, хоть на этом свете. Так рассуждал Адам, торопливо хлебая щи. На грудь из ложки лилось — не сводил с Евы глаз Адам и чем дальше хлебал, тем большая торопливость и нетерпение охватывали его. Бог! Бог это ему, мужчине, одичалому от одиночества, женщину послал. Он, он, радетель! От управления дистанции пути не больно какого товару дождешься, керосину, фитилей для фонаря — и то в обрез дают, инструменту не допросишься, велят самому промышлять струмент, и корм, и бабу! А они, бабы, по железным дорогам не валяются. От гнетущей истомы отправится когда Адам в путевую казарму, в дождь, в мороз, в пургу — всякое бывало, но отломится ли чего, еще неизвестно, смотря по обстоятельствам.

Адам нервничал, ерзал за столом. Старый мужик, известное дело, и трехдневной каше рад, а тут?! «Да черт с ними, со щами с этими и с обедом!» Адам бросил ложку, путаясь в одежде, разболочка до исподнего, чистоплотно вытер ноги о половичок, приподнял одеяльце и осторожно вкатился в уютную, хорошо нагретую постельную глушь. Полежал, смиренно вытянувшись, Адам — не прогоняют. Тогда он

придвинулся к Еве потеснее и услышал: «Ну, энти мужики! Ну звери и звери! Со стужи, с ветру... и холодными лапами сразу к живой теле!...»

Так вот Адам женился и сам себе удивился. Жили Адам с Евой весело и даже бурно. Гонялся, и не раз, Адам за Евой с ломом и путевым молотком, подняв струмент над головой. Но догнать не мог. Шустра! Палил Адам в Еву из ружья дробью — промахнулся. Вешался Адам на турнике перед окнами путевой будки — веревка оборвалась, и все через роковую, ослепляющую разум Адама страсть: любила Ева народ, и народ ее тоже любил.

Под расписку Зойка не шла до тех пор, пока не родился сынок, которого она нарекла модным именем Игорь. Рос сынок на приволье хорошо, быстро, и Зойка возле него унялась, заботливой матерью сделалась, уж не метила улизнуть на станцию в буфет. Адам наметил план: смастерить еще двух детей, дочку и сына, чтоб закрепить за собой Еву. Да не дала она себя закабалить земными заботами и многодетностью. Когда Игорь вырос и был определен в железнодорожное училище получать профессию машиниста электровоза, запировала Ева с прежней силой.

Игорь Адамович уже определился с работой, женился, когда мать его объявилась в Вейске, в железнодорожном поселке, в доме номер семь, заявив, что мужик у ей был уже преклонных лет, когда она с ним сошлась, сносился до смерти и теперь она станет жить с сыном, потому как больше жить ей негде и не с кем.

И жила. Долго. Давно жила. И привычно совали за нижнюю дверь детишек жители восьмиквартирного дома, побежавши по делам, в кино, срочно куда-либо вытребованные, и привычное слышалось из квартиры Зудиных: «А-ту-ты-ту-ты-ту-ты, а-ту-ты-ту-ты-ту-ты...» — это бабка Зоя колебала и подбрасывала на коленях чье-либо дитя, иногда по несколько штук сразу.

Была бабка Зоя страшная сквернословка и любила выпить. Подвыпивши, пела частушки, чуть их поддельвая «под приличность». Например: «Тятка с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я, бедный, за трубой изгибаюся дугой». Будучи во зле, бабка бралась за воспоминания, как в колонии «ливер давили» рассказывала, по-человечески это значит — ухаживали за женщинами «своего мира» урки, бандиты, всякое отребье.

Ребятишки — народ творческий: бабкины частушки восстанавливали в подлинном тексте и горланили их на весь поселок. Володя Горячев специально ходил к седьмому дому — заучивать фольклор бабки Зои, которая постепенно утратила свое подлинное имя, потому как народ плодился,— бабкино «ту-ты, ту-ты, ту-ты» уже не смолкало ни днем, ни ночью. Долго бабка Тутьшиха билась с приладом к «ту-ты, ту-ты», уж и так, и этак вертела она его: «А, туты, туты, туты,

потерял мужик путы́, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел». Но ребятишки в доме номер семь и окрестностях его не знали слова «путы». Бабка попробовала приставлять «уды», однако и тут что-то ее в тексте не устраивало, и тогда ум бабки, уже вплотную сблизившийся с детским, ступил на новаторскую линию, обогатил русский фольклор дерзким новшеством: «А, туты, туты, тутыл, потерял мужик бутыл, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел».

Всех эта последняя редакция устроила потому, как в тексте содержался прямой намек на воздаяния и благодарствия. Все расчеты за помощь отныне осуществлялись с помощью «бутыла» — небольшого и неразорительного. Бабка Тутышиха, когда у нее появилась внучка Юлька, и сыну приказала: пенсию не зорить и в неделю раз выдавать ей четушку. Пенсия у бабки была небольшая: как помощнику путеобходчика ей определили рублей двести пятьдесят старыми деньгами.

С появлением внучки бабка смягчилась нравом, черные ее воспоминания погасило чувство светлой, пусть и бестолковой любви к Юльке, или потускнели сами собой они, и когда внучка была во здравии, а росла она хилая, плаксивая, в соплях всегда, бабка, прикрыв глаза, оживляла в себе совсем-совсем почти погребенное жизнью и годами. «Я на тым берегу черемуху ломала, да энтог перешла — с миленьким гуляла». «Не стой на мосту — не маши хвурашкой, я теперя не твоя, не зови милашкой!» И с тихой, бесслезной печалью воскресила однажды: «Милая, красивая, свеча неугасимая! Горела, да растаяла, любила, да оставила...» Спела, вскинулась и, оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, наморщенным лбом уперлась в стекло окошка того, которое было рублено туда, на запад, на родину, давным-давно ею покинутую.

Юлькина мать, женщина конторская, часто болела, рожать ей было нельзя, но она надеялась с помощью родов оздороветь и оздоровела настолько, что стала ежегодно кататься по бесплатному железнодорожному билету на курорты, с мужем и без мужа, и однажды с курорта не вернулась, говорили: утонула в Черном море.

Игорь Адамович, все еще молодой, но уже посолидневший, с хорошей профессией и большим заработком, долго не вдовствовал, учительница школы рабочей молодежи, где он добывал среднее образование, Викторина Мироновна Царицына, с самой ранней молодости, с пединститута еще, имеющая двух девочек-близняшек, Клару и Лару, быстренько помогла ученику с образованием семьи и по части всякой иной грамоты.

У Викторины Мироновны была квартира в управленческом доме. Игорь Адамович скоро позабыл номер старого дома, и осталась Юлька при родителях считай что сиротой, на руках великого педагога —

бабки Тутышихи, которая материла внучку за отставание в учебе, гонялась за ней с полотенцем, если та не слушалась ее.

На шестнадцатом году, видя, что Юлька начала охорашиваться, подглядывать за мальчишками и спать беспокойно, бабка Тутышиха стравила внучку какому-то пьющему проходимцу, и синюшная лицом, тонконогая, недоразвитая Юлька, из-за умственной отсталости не удержавшаяся в пединституте, приткнута была Викториной Мирановой в училище дошкольного воспитания и маялась там который год, мучая себя и воспитательные науки. Родители Юльки, подрастив двух дочерей в управленческом доме, возлюбили путешествия и отдых в санаториях, жили в свое удовольствие, катались вокруг Европы и по ближним странам, завели дачный участок, увлеклись цветоводством. Юлька тем временем добывала себя с кавалерами, среди которых, вспомнил Леонид, случался и тот модник в дубленке с гуцульским орнаментом. Он, поди-ка, Юльку и поджидал с гоп-компанией под лестницей, да тут и нанесло Юлькиного верхнего соседа.

Бабка Тутышиха жить без Юльки не могла, учила ее уму-разуму, будто фельдфебель в пехотной роте, не подбирая выражений:

— Ты перед каждым-то встречным-поперечным не расшаперивайся. Ты строк отшпытывай или анпулу проглоти.

— Капсулу, бабушка. Ампула в стекле.

— Ну и што, што в стекле? Раз атмаесси, потом зато те свобода. А это что же за моду взяла — кажин раз пятьдесят рубликов! Где отцу на вас полсотских набраться? Вас у ево три халды, и все развитие, похотливые. И в ково токо удались? Я вот удала была, но ум имела! У тэйта, у царицы-та, дочки учительши, а кунки у их тоже веселы...

Спит бабка, поднабравшись вкусно «бальзама» и прикончив чекенчик. Юлька переполошила своим нарядом подружек из общежития училища дошкольного воспитания, примерно такого же уровня ума и духовных запасов, как у нее. Все еще зудит и пытается поставить на путь праведный дядя Паша потерявшего «облик совести» старца Аристарха Капустина, рыбака-стервятника, черпающего веснами рыбу в заморных прудах и озерах, балующегося «телевизором», «косынками», — так недолго до взрывчатки докатиться и угодить в тюрьму. Лавря-казак, выдержав извержение вулкана, дожидается часа, когда расплавленные породы остынут и осядут в нутро kloкочущего кратера, на цыпочках прокрадется в туалет, где за журчливым унитазом, среди бутылок с красками и пакетов с порошками, стоит сосуд с деловой наклейкой «Деготь колесный» — клятая капелюшечка никак не дает ему сонно расслабиться. В Доме ребенка спит — не спит тетя Граня, чутко сторожа сон малых людей, осиротевших в несчастье, брошенных или пропитых мамами и папами.

Запираются на ночь клубы, стадионы, рестораны, библиотеки, дворцы культуры, но летят самолеты, идут поезда, стоят на посту

часовые и сторожа. Где-то в тюремном вагоне тесно спит с такими же, как он, хануриками Венька Фомин из Тугожилино и не знает, куда его везут. А везут его далеко и надолго — остатков уже шибко траченной жизни может ему не хватить на возврат.

Крепко запершись на деревянный засов и на железные крючья, врозь улеглись в жарко натопленной избе супруги Чащины, вздыхает украдкой, чтоб не потревожить «самое», перемогает бессонницу Маркел Тихонович, тоскуя по внучке, думая о зяте и дочери, может, и фронт вспоминает — вслух, прилюдно он отчего-то вспоминает войну редко, вздыхает лишь иногда: «Не приведи, господи, еще раз такое...»

Уторкав вундеркиндов, сонно перелистывает затасканную рукопись некоего Сошниина мыслительница и толкач местной культуры Октябрина Перфильевна Сыроквасова.

Большой начальник Володя Горячев правится спать и, как ему кажется, про себя выражается по адресу гостя и всех порядков, не им введенных, но в невесомость орбиты его втянувших. Алевтина Ивановна, путающая зычные голоса покойного мужа и богоданного сыночка, наглухо накрывает внука Юрочку, отворачивает от его лица голубой огонек ночника, смотрит на законный уличный свет, думая о детях вверенного ей Дома ребенка, где она, ровно бы искупая вину за нерожалость свою, пытается стереть из жизни и памяти детишек немилосердность беспутных и преступных женщин, выправить их дальнейший жизненный путь.

Лерка и Светка, уработавшись, спят обнявшись на тесном диванчике в тесной и душевной комнатухе, в многолюдном каменном бараке, согласно новой эре ловко переименованном в жилище гостиничного типа. «Все эры, эры...» — вспомнилось Сошнину.

Кто-то на дежурстве по отделению сменил Федю Лебеду? Кого-то побьют, изувечат ночью три добрых молодца, уязвленных в доме номер семь и от уязвленности жажущих мщения.

Качается за окном фонарь, крошатся от ветра сосульки. Пробуравил лобовым прожектором, успокоил басом ночных пассажиров электровоз, на котором после отдыха в модном прибалтийском санатории, быть может, в первый рейс ушел щедрый отец Юльки. Все реже на улице прохожие, все медленней кружение Земли, и Лерка со Светкой все спят, спят... «Я знаю, вы лукавите со мной. Уж сколько раз давал себе я обещанья уйти, порвать с обманщицею злой. Но лишь у нас доходит до прощанья — как мне уйти? Смогу ли быть с другой?...», «О, мати божья, и что за способность у человека запоминать глупости, видеть то, чего не надо видеть, жить не так, как добрые люди живут, без затей, надломов, просто жить...» — успел еще подумать о себе отстраненно Леонид и, кажется, послал всего несколько минут, как вдруг его сбросил с дивана тонкий вопль — кто-то кого-то терзал



или поздно и тайно возвращающуюся домой Юльку сгреб какой-нибудь забулдыга и поволок под лестницу.

Натягивая штаны, Сошнин с удивлением смотрел в окно, за пузатый «гардероп», откуда льдиной напирал холод рассвета, как дверь, которую он забыл закрыть, громыхнула, через порог упала и поползла, протягивая к нему руку, Юлька:

— Дядя Леш!.. Дядь Леш!.. Бабушка...

Сошнин перепрыгнул через Юльку, махом долетел до нижней двери, распахнул ее.

Бабушка Тутышиха, сложив маленькие, иссохшие ручки на груди, с доверчивой и приветной полуулыбкой лежала на кровати поверх одеяла, в верхней одежке, в стоптанных тапочках, полуоткрытым глазом глядя на него. Леонид зашипнул холодные веки бабушки Тутышихи, поболтал керамическую бутылку из-под «Бальзама рижского» — бабушка не послушалась наставлений его, прикончила «пользительное» питье.

Ему бы ночью изъять «бутыл» у бабки, так нет, у него свои дела и заботы. У всех свои дела. Скоро никому никакого дела друг до дружки не будет.

— Перестань! — прикрикнул он на скулящую в дверях Юльку. — Дуй за отцом, за Викторией Мироновой, гуляка сопливая! Что вот тепер без бабушки делать будешь? Как жить?

— О-ой, дядя Леша! Не уходи. Я бою-уся-а... Не уходи... — набрасывая шубенку, не попадая в петли пуговицами, частила Юлька. — Я счас. Я мигом.

Провожали бабку Тутышиху в мир иной богато, почти пышно и многолюдно — сынок, Игорь Адамович, уж постарался напоследок для родной мамочки. Хоронили бабку на новом, недавно подсоединенном к старому, кладбище, на холме, да и старое-то началось лишь в сорок пятом году, тоже на голом, каменисто-глинистом холме, но там уж плотно стоял лес, частью посаженный, частью выросший из семян, прилетевших из заречья и с охранной лесной зоны города Вейска, с железнодорожных посадок и просто притащенных с землею на обуви, на колесах телег, грузовиков и катафалков, — жизнь на земле продолжалась, удобрения в земле прибавлялось. Все шло своим чередом.

Бросив горсть земли на обтянутый атласом гроб бабушки Тутышихи, Леонид напрямки, по снегу, валившему после оттепели, обрадованно и неудержимо пошел к старому кладбищу, отыскивая взглядом толстую осину-самосевку — ориентир на пути к могиле матери и тети Лины.

Возле свежепокрашенной, ухоженной оградки увидел качающуюся по голубому снегу косошею тень в железнодорожной шинеленке, в беретике и не стал мешать молиться тете Гране, прошел мимо,

удивившись лишь тому, что тетя Граня, женщина крупная, сделалась со школьницу ростом. Фотография Чичи на пирамидке выгорела или обмылась дождями и снегом до серого пятнышка, но тетя Граня все еще, видать, узнавала в том пятнышке мужа, молилась господу, чтоб он простил его и в свой черед не забыл о ней, грешнице, прибрал бы тихо, без мучений; горсовет в порядке исключения за все ее труды и жертвования в пользу общества разрешил бы похоронить ее на закрытом кладбище, рядом со спутником жизни, какого уж ей бог послал.

В оградке матери и тети Лины толсто лежал снег в крапинках копоти, долетавшей сюда из городских труб. Леонид не стал отматы-вать проволоку на дверце оградки, не вошел в нее. Взвзвись за острозубые пики, приваренные электросваркой к поперечным угольникам, стоял и смотрел на это тихое место, пытался и не мог вообразить, как они там, дорогие его женщины, под снегом, в земле, в таком холоде существуют. И ничего нельзя для них сделать, ничем невозможно помочь, отогреть, приласкать. Что же такое вот этот день, небо высокое, яркое от снега и вдруг прорвавшегося с высоты солнца, и это вот густонаселенное кладбище, в утеснении которого лежат под снегом и не подают голоса двое никому, кроме него, Сошнина, не известных людей? Где они? Ведь были же они! Были! И люди, все люди, что вокруг лежат, тоже были. Работали, думали, хлопотали, плодились, добро копили, пели, дрались, мирились, куда-то ездили или думали поехать, кого-то любили, кого-то ненавидели, страдали, радовались...

И вот ничего и никого им не надо, все для них остановилось, и сколько бы ни ломали головы живые, чтобы понять и объяснить себе смысл смерти,— ничего у них не выходит. Сколько бы ни винулись, все не кончается вина живых перед покинувшими земные пределы людьми.

Весной на кладбище сжигали мусор, и поднимись же ветер на ту пору — и пошли палы по могилам и крестам. Все, что было деревянное, сгорело, на железном сожгло краску. Многие могилы на кладбище разоренными ушли в зиму, под снег, ржавели оградки и памятники, пустовали могилы — снег упрятал головешки под собой, накрыл белым саваном — к месту слово пришлось,— совсем уж скорбным саваном приют человеческой юдоли и печали.

Пламя побывало и на могиле Сошнинных, оплывило краску на оградке, выжгло фотокарточки в полукруглых отверстиях. Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробия, вбил в землю скамейку, но фотографии новые не вставил. Зачем они? На прежних фотографиях женщины молодые, мало похожие на тех, которых помнил Сошнин. В войну маме некогда было фотографироваться. Тетя Лина после колонии не в фотографию правилась, а, тайно от него, от Леонида, в церковь. Незачем тешить

фотографиями чужих и равнодушных к ним людей — показухи и без кладбищ хоть отбавляй. Он помнит маму, но больше тетю Лину, любит их, скорбит по ним, мучается, как и все люди, в груди которых еще есть сердце, за то, что жив, а они лежат так близко — рукой можно достать — и в то же время столь далеко, что уж никогда и никто их не достанет, не увидит, не обидит, не развеселит, не толкнет, не обругает. И небо, так ярко засиявшее от беззаботного, никого не греющего солнца, к ним отношения не имеет — они в земле лежат, снизу у них земля, и над ними земля, давно уж, наверное, раздавившая их, вобравшая их тлен в себя, как вбирала она и до этого миллионы и миллионы людей, простых и гениальных, черных и белых, желтых и красных, животных и растения, деревья и цветы, целые нации и материки, — земля и должна быть такая: бездушная, немая, темная и тяжелая. Если б она умела чувствовать и страдать, она бы давно рассыпалась и прах ее развеялся бы в пространстве. Вбирая в себя то, что она родила, вбирает она и горе человеческое, и боль, сохраняя людям способность жить дальше и помнить тех, кто жил до них.

— Ну, простите меня, мама, тетя Лина, — сняв шапку, низко поклонился Леонид и отчего-то не смог сразу распрямиться, отчего-то так отяжелело его горе, скопившееся в нем, что сил не было поднять голову к яркому зимнему солнцу, сдвинуться с места.

Наконец он почувствовал головой холод, обеими руками нахлобучил шапку и, уже не оглядываясь, длинно прокашливая слезы в сдавленном горле, двинулся к выходу с кладбища, боясь выплюнуть откашлянную мокроту в кладбищенский снег.

У выхода со старого кладбища он заметил две фигурки: одна, в приталенном пальтишке, в песцовой шапке, пританцовывает, бьет сапогом о модный сапог, другая фигурка малая, с большой круглой головой-одуванчиком, — слава богу, догадались закутать ребенка в тети-Линину пуховую шаль, в валенках с галошами, в деревенских рукавичках из овечьей шерсти, в неповоротливой шубе, стоит, смешно оттопырив руки. Чтобы не дать ход пустому разговору: «Опоздали на автобус, все машины ушли, мы с нового кладбища сюда, на всякий случай...» — Сошнин с ходу поднял Светку, прижал ее к себе. Она молча и крепко обняла отца за шею, приникла к его уху ртом, осторожным теплом в него дышала.

Почему-то он шел сердито, или так казалось Лерке, больше обычного хромал, и ботинки, полные снега, мерзло чирикали на стеклянистой полознице дороги. Не зная, что сказать и сделать, Лерка внезапно стала дразнить его про себя жестокой детской дразнилкой: «Рупь — пять, где взять? Надо за-ра-бо-тать! Рупь — пять, где взять...» Что это я? Совсем уж рехнулась? Вовсе одичала? — остепенела она себя. — У него ж с ногой, видать, совсем неладно, не может

грубые милицейские сапоги носить...» Лерка покорно зачатила ногами позади мужчины, и у нее тоже начали почирикывать сапоги.

«Куда ты?» — хотела она запротестовать, запоперешничать, когда Сошнин свернул от кладбища к спуску, ведущему в железнодорожный поселок, но он же заорет, непременно заорет: «Домой! Нечего шляться по чужим углам!» — и потом у них там, в седьмом доме, — поминки, может, помочь надо тете Гране и Викторине Мироновне. Да мало ли что — дни у него трудные, хлопотные были последние, и работа с Сыроквасовой, и какие-то хулиганы на него нападали — все-то на него кто-нибудь нападает, и вообще живет он все время какой-то напряженной жизнью. Зачем так? Сколько свежих могил на новом кладбище? Черно. А кладбище-то осенью лишь прибавлено и открыто. Зачем люди укорачивают себе жизнь? Зачем торопят друг дружку туда? Надо наоборот. Надо как-то совместно преодолевать трудности, мириться с недостатками...

— Тебя где носит? — зашипела на Леонида тетя Граня, как только брякнула за ним гиря в седьмом доме. — Второй черед надо садить за стол, каки-то ветераны затесались, пробуют песняка драть...

— Я-то тут при чем, тетя Граня?

— Забирай их! Выметаи! Чтобы людям не мешали...

— Я не служу в милиции, тетя Граня.

— Ну ак че? Кому-то надо все одно наводить порядок! Хозяин-то наелся, никово видеть и слышать не хочет, по мамочке горюет.

Тетя Граня отчего-то была непривычно сердита, почти зла. Скорей всего от работы в Доме ребенка. Судьбы и жизни детей, исковерканные еще при рождении дорогими мамулями и папулями, наверное, не очень-то рассиропливают сердце, они ожесточают даже таких святотерпцев, как тетя Граня. Одна мамуля совсем уж хитро решила избавиться от сосунка — засунула его в автоматическую камеру хранения на железнодорожном вокзале. Хорошо, что вейские милиционеры знают всех бывших и здравствующих специалистов по замкам, и один матерый домушник, живший по соседству с вокзалом, быстро открыл сундучок камеры, выхватил оттудова сверток с розовым бантиком, поднял его перед негодующей толпой: «Девочка! Крошка-дитя! Жись посвящаю! Жись! Ей, — возвестил домушник. — Потому как... А-а, с-суки! Крошку-дитя!..» — Дальше говорить этот многожды судимый, ловимый, садимый страдалец не смог. Его душили рыдания. И самое занятное — он действительно посвятил жизнь девочке, обучился мебельному делу, трудился в фирме «Прогресс», где и отыскал себе сердобольную жену, и так они оба трясутся над девочкой, так ее лелеют и украшают, так ли ей и себе радуются, что хоть тоже в газету о них пиши заметку под названием «Благородный поступок».

Сошнин раскутал Светку, поставил кастрюльку с супом на плиту,

зажег бумагу, начал толкать в печку дрова. Светка посидела возле дверцы плиты на ее давней низенькой табуретке, взяла веник и стала подметать пол.

Лерка стояла, опершись спиной на косяк, и глядела в дверь средней комнатушки, из которой виден был угол зловещего «гардероба». Хозяин не приглашал ее раздеваться, проходить. Пошвыривал дрова. Она, его «примадонна», так ни разу, ни с одним мужчиной больше и не была, боится раздеться, «одомашниться». Ей нужно будет время заново привыкать к нему и к дому, перебарывать свою застенчивость или еще что-то там такое, не всякому дураку понятное.

— Ну, я пойду туда,— кивнул Леонид на дверь головой.— Надо. Ты, Свет, похлебай горячего супу, хочешь — почитай, хочешь — поиграй, хочешь — телевизор включи. Не знаю, работает ли? Я его давно не включал...

Светка перестала водить веником по полу, исподлобья поглядела на него, перевела глаза на мать. Лерка молча отстранилась от косяка, пропуская Сошнина в дверь.

Под лестницей серой, пепельной кучкой лежало что-то в расплывшейся луже. «Урна!» — догадался Сошнин. На свадьбы и торжественные гулянки ее уже давно не пускали, но с поминок прогонять не полагается — такой обычай. Наш тоже. Русский.

«Эй! — вскипело вдруг в груди Сошнина.— Эй, жена! Иди, полюбуйся на мою полюбовницу!.. — хотел он уязвить Лерку напоминанием о давнем скандале и тут же «осаврасил» себя — словцо Лаврика казака пришлось к разу: — Со-овсем ты, Леонид Викентьич, с глузду съехал, как говорят на Украине, совсем! Скоро злом изойдешь, касатик!..»

А-ар-р-рдина нида-аррам да нам стр-рана вручила,  
Это знает каждый наш боец...  
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов,  
Мы готовы к бою, Сталин — наш отец...

Подпершись рукою, вполголоса вел за столом Лавря-казак, дядя Паша, старец Аристарх Капустин, соседи, многочисленные «воспитанники» бабки Тутышихи и просто знакомые люди подвывали в лад ветеранам, промокая глаза комочками платков.

Игорь Адамович лежал ниц на материнной кровати, в пиджаке, в начищенных ботинках, не шевелясь, не подавая голоса. Викторина Мироновна вопросительно и тревожно взглядывала в его сторону, вежливо потчуга гостей. У торца стола, в выдающийся костюм, в заморскую водолазку и шелковистый парик наряженная, торчала нелепая и всем тут чужая Юлька. Она поймала взглядом вошедшего Леонида, потерянно ему улыбнулась:

— Сюда, дядь Леша, сюда, пожалуйста!

Певцы примолкли было при появлении Леонида, но он, присев к столу, без ожидаемой строгости молвил:

— Пойте, пойте. Ничего. Баба Зоя легкого характера была, любила попеть...

— Ой, бабушка, бабушка! — диким голосом закричала Юлька и упала на плечо Леониду.

Он ее погладил по съехавшему на ухо, не по ее малой глупой голове сделанному парикю и со скрипом прокашлял чем-то вдруг передавленное горло.

Пришла Лерка. Сошнин подвинулся, освобождая место подле себя на плахе, положенной на стулья вместо скамьи и покрытой облысевшим ковриком, принесенным Викториной Мироновой из дому.

— Царство небесное милой бабушке, — потупясь, произнесла Лерка, зачерпнула ложечкой кутьи из широкой вазы, подставив ладонь, пронесла ее до рта и долго жевала, не поднимая глаз.

Тетя Граня закрестилась, заплакала; зашмыгали носами, заплакали, заутирались женщины-соседки, кто-то сказал привычное, к которому никогда и никому не привыкнуть: «Вот она, жизнь-то, была — и нету». Никто не продолжил, не поддержал скорбный разговор, и петь больше не пробовали, не получалось ни долгой, душеочистительной беседы, ни песен расслабляюще-грустных, располагающих людей к дружеству и сочувствию.

Ночью Сошнин лежал не шевелясь на свежезаправленной постели. Близко, за тонкой перегородкой, посвистывала носом Светка, простудившаяся на кладбище. Несмело прижавшись к нему, спала Лерка. Четко работали-стучали старые часы на стене в деревянном ящике — их любила заводить ключом Светка. Леонид все забывал их заводить, и уже через сутки после разрушения семейного союза часы, упершись гирей в деревянный пол, замолкали, делалось тихо, время останавливалось в четвертой квартире. Он стал думать, откуда и каким образом попались в пролетарскую квартиру такие старинные, снова сделавшиеся модными и ценными часы — опять пошла мода на старину. Но ничего ни вспомнить, ни придумать не смог и вообще думать ему ни о чем не хотелось — редкий, пусть и настроженный покой был в его жилище и в сердце. Он понимал, что надо как-то налаживать свою жизнь, разбираться в ней и, прежде чем вплотную засесть за письменный стол, по-новому, вздумчивей и шире, что ли, осмыслить все, что произошло и происходит с ним и вокруг него, научиться смотреть на людей и понимать их не так, как прежде, глазами зоркого и беспощадного «опера», а человека иного предназначения. На работе так просто было «сортировать» алкашей, бабников-разведенцев, жуликов, мелких и больших воров — «паханов» и «цариц», сутенеров и рвачей, вокзальных и чердачных обитателей, бичей, перекати-поле вербованных. Но ведь это лишь верхний слой... Или нижний? Пыль на подоконнике, а за окном, по-за стеклами, идет, бредет, «бегит», живет,

пляшет, веселится, плачет, ворует, жертвует фамильными ценностями и собой, рождается и умирает всякий разный народ, много народу, много земли, много лесу...

«Много лесу, много лесу, много вересиночек...» — Он так и уснул, не успев до конца вспомнить частушку, слышанную в деревне Полёвке. Хорошая, складная частушка — народное творчество.

Спал он сперва спокойно и крепко, но потом привязался и начал мучить его кошмарный сон: по весеннему, рассосанному льду, замусоренному рыбаками, испятнанному сверлами, приплясывая, ходила девочка в красной шапочке. Лед от того и другого берега отсоединен заберегами, вот-вот тронется река, и никого на льду, ни одной души, кроме девочки. Леонид смотрел, смотрел на девочку и узнал Светку, хотел заорать, но в это время река тронулась, начало ломать, разводить льдины. Сошнин бежал вдоль берега, точнее, пробовал бежать, да не бежалось. Звал Светку — воздуху на громкий крик в груди не хватало. И тогда он бросился в реку, стал разбивать лед кулаками. Лед не разбивался. «Ты его доской, доской», — послышался голос Феи Лебеде, и откуда-то взялась доска. Леонид крушил лед доской, рвался к Светке, больно натыкаясь грудью на острие льдин, все глубже забредая в кипящую мутную воду. «Хорошо, хоть не холодная. Сток. Горячий сток с шинного завода, вот и не холодная». Он пробился-таки к девочке, протянул руку, но в это время льдина лопнула на несколько частей, беспечно смеющуюся девочку закружило, понесло уже не на льдине, а на тетрадном листе, в углу которого стояла крупная красная двойка, понесло в небо, во тьму, проколотую звездами. «Да это же тот свет! — догадался Леонид и, как ему казалось, во все горло заорал: — А-а-а!» На самом же деле лишь замычал и, подпрыгнув в постели, проснулся.

— Ты че? — прошептала невнятно Лерка.

— Спи. Спи. Ничего, — с облегчением перевел он дух и прижал ладонью Лерку к постели и не отпускал до тех пор, пока не занемела от неподвижности рука. Затем поднялся попроведать дочку. Слягав одеяло, уронив подушку, руки и ноги вразброс, девчушка доверчиво обняла бабы-Линин старинный сундучок, сотворенный вятскими умельцами и с малолетства обогретый ее телिशком, а до нее сундучок этот обживали, грели, хранили в нем подвенечные платья, нехитрое деревенское приданое, клубки, платки, узелки с серебрушками и леденчиками, половички, скатерки, кружевца дальние родственницы Светки, которых она никогда не видела, не знала и уж не увидит и ничего о них не узнает... «Что уж тут болтать о связи времен! Порвались они, воистину порвались, изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловеющий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем и, может быть, уже не нам, а Светке, ее поколению, наверное, самому трагическому за все земные сроки...»

Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сошнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочки и забылся в каком-то сладком горе, в воскращающей, животворящей печали, и, когда очнулся, почувствовал на лице мокро, и не устыдился слез, не презирал себя за слабость, даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело.

Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, закатившую голову ему под мышку.

Муж и жена. Мужчина и женщина. Сошлись. Живут. Хлеб жуют. Нужду и болезни преодолевают. Детей, а нынче вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастят, себя и его замают. Плутавшие по земле, среди множества себе подобных, он и она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни. Муж с женою. Женщина с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга, не подозревавшие даже о существовании живых пылинки, вращающихся вместе с Землею вокруг своей оси в непостижимо громадном пространстве мироздания, соединились, чтоб стать родней родни, пережив родителей, самим испытать родительскую долю, продолжая себя и их.

Не самец и самка, по велению природы совокупающиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенные для того, чтоб помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться, из сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть хорошее. Ведь от родителей они были переданы друг дружке всяк со своей жизнью, привычками и характерами — вот из разнородного сырья нужно создать строительный материал, слепить ячейку во многовековом здании под названием Семья, как бы вновь народиться на свет и, вместе дойдя до могилы, оторвать себя друг от дружки с неповторимым, никому не ведомым страданием и болью.

Экая великая загадка! На постижение ее убуханы тысячелетия, но так же, как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если он и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именуемый себя людьми.

Но в современном, торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде, жена опять же — хорошего, лучше бы очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самое святое на земле — семейные узы, измерзавшие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растрворенной во всех хороших женах, надо полагать, ведают, что и хороший муж



распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить бы в мешок и утопить. Просто! Вот как бы до нее, до простоты той, доскрестись на утлом семейном корабле, не менявшемся со дня сотворения мира, шибко рассохшемся, побитою житейскими бурями, потерявшем надежную плавучесть.

«Муж и жена — одна сатана» — вот и вся мудрость, которую ведал Леонид об этом сложном предмете.

«А ну-ка, что у товарища Даля?» Он осторожно начал перелезать через Лерку. Привыкшая спать со Светкой, караулящая ее каждое движение и шевеление, слышащая даже дыхание своего единственно-го дитяти, Лерка, не просыпаясь, захлопала рукой рядом.

— Ты че? — снова спросила сонно и глухо.

— Спи. Спи. Ничего, — снова негромко отозвался Леонид, прикрывая ее простыней. — Я печку подтоплю. Светке холодно.

И он затопил печку, хотя в квартире было не холодно, посидел возле открытой дверцы, подышал сухим теплом, посмотрел на красиво, но бодро танцующее пламя и отправился к столу, косясь на вольно раскинувшуюся, в волосах себя запутавшую Лерку.

Над письменным столом, когда-то забракованным по дряхлости в технической конторе станции Вейск и безвозмездно отданным тете Лине, прибита полочка для учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. Ныне на полочке, шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборник стихов и песен. Среди них зеленым, светофорным светом горит обложка книги «Пословицы русского народа». «Молодой литератор» и уже испытанный в семейных делах муж открыл толстую книгу на середине. Раздел «Муж — жена» занимал двенадцать широченных книжных страниц — молодая русская нация к прошлому веку накопила уже изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве.

«Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи». «Разумно, очень разумно и дельно!» — ухмыльнулся мыслитель из железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота просмешничать: «Смерть да жена — богом суждена», «Женитьба есть, а разженитьбы нет», «С кем венчаться, с тем и кончаться», «Птица крыльями сильна, жена мужем красна», «За мужа завалюсь — никого не боюсь».

«Ага! Как же! — не согласился на сей раз с народной мудростью Леонид. — Познакомить бы вас с современной женщиной!» Он произвольно покосился на Лерку. «Жена не сапог, с ноги не скинешь». «Что верно, то верно», — длинно выдохнул Сошнин и водворил книгу на место.

И без словаря одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит, порешил он. «Семьи рутятся и бабы с мужиками расходятся отчего? — вопрошала бабка Тутышиха и сама себе давала ответ: — А оттого, что сплят врозь. Дитев и друг дружку не видют

неделями — чем им скрепляться? Мы, бывало, с Адамом поцапаемся, когда и подеремся, но муж с женою хотя и бранятся, да под одну шубу ложатся! Ночью-то, бывало, Адамка на меня ручку нечаянно положит, я на его ножку от жары закину, и, глядишь, замиренье, покой да согласие в дому...»

«И то правда, — вздохнул Сошнин. — Бабка решала сложные задачи без дробей, простым, но точным способом».

Леонид постоял среди комнаты, погладил себя по голове. Из-за «гардероба» начинал просачиваться слабый свет. «Однако гробину эту все же придется рубить на дрова, — погладил он облезлое сооружение. Оно, будто старый пес, шершавым языком цеплялось за пальцы, приятельски показывало ладонь. — Ничего не поделаешь, друг. Современный быт требует жертв! Ничто новое без жертв у нас не создается и не излаживается», — виновато усмехнулся хозяин четвертой квартиры.

Рассвет сырым, снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно, когда, насладившийся покоем среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему неведомой уверенности в свои возможности и силы, без раздражения и тоски в сердце, Сошнин прилепился к столу, придерживая его расхлябанное тело руками, чтоб не скрипел и не кричал, потянулся к настольной и тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею с железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним.

## МАКАРОНИНА

Бывшему пехотному разведчику  
и верному другу — Евгению Капустину

На перекрестках военных дорог, в маленьком городке, в каком-то очередном учебно-распределительном, точнее сказать, военной бюрократией созданном подразделении, в туче народа, сортируемого по частям, готовящимся к отправке на фронт, кормили военных людей обедом, завтраком ли — не поймешь. Выданы были котелки, похожие на автомобильные цилиндры, уемистые, ухлебистые, словом — вместительные, и мы, бойцы временного, пестрого военного соединения, тая в своей смекалистой мужицкой душе догадку, думали, что уж такая посудина дадена не зря, что мало в нее не нальют, иначе будет видно дно и голая пустота котелка устыдит тыловые службы снабжения.

Но были люди повыше нас и посообразительнее — котелок выдавался на двоих и в паре выбору не полагалось: кто рядом с правой руки в строю, с тем и получай хлебово на колесной кухне и, держась с двух сторон за дужку посудыны, отходи в сторону, располагайся на земле и питайся.

В пару на котелок со мной угодил пожилой боец во всем сером. Конечно, и пилотка, и гимнастерка, и штаны, и обмотки, наверное, были полевого, защитного цвета, но запомнился мне напарник по котелку серым, и только. Бывает такое.

Котелок от кухни в сторону нес я, и напарник мой за дужку не держался, как другие напарники, боявшиеся, что связчик рванет с хлебовым куда-нибудь и съест или выпьет через край должжданную двойную порцию супа один.

Суп был сварен с макаронами, и в мутной глубине котелка невнятно что-то белело.

Шел май сорок третьего года. Вокруг зеленела трава, зацвели сады. Без конца и края золотились, желто горели радостные одуванчики, возле речки старательно паслись коровы, кто-то стирал в речке белье, и еще недоразрушенные церкви и соборы поблескивали в голубом небесном пространстве остатками стекол, недосгоревшей ли позолотой куполов и крестов.

Но нам было не до весенних пейзажей, не до красот древнего города. Мы готовились похлебать горячей еды, которую по пути из Сибири получали редко, затем, в перебросках, сортировках, маршах и вовсе обходились где сухарем, где концентратом, грызя его, соленый и каменно спрессованный, зубами, у кого были зубы.

Мой серый напарник вынул из тощего и тоже серого вещмешка ложку, и сразу я упал духом: такую ложку мог иметь только опытный и активный едок. Деревянная, разрисованная когда-то лаковыми цветочками не только по черенку и прихвату, но и в глуби своей, старая, заслуженная ложка была уже выедена по краям, и даже трещинками ее начало прошибать по губастым закруглениям, обнажая какое-то стойкое, красноватое дерево, должно быть, корень березы. Весной резана ложка, и весенний березовый сок остановился и застыл сахаристой плотью в недрах ложки.

У меня ложка была обыкновенная, алюминиевая, на ходу, на скаку приобретенная где-то в военной сутолоке, вроде бы еще в ФЗО. Как и всякий современный человек, за которого думает дядя и заботится о нем постоянно государство, я не заглядывал в тревожное будущее, и не раз, и не два был уже объедаем, обхлебываем на боевых военных путях, потому что, кроме всего прочего, не научился еще хватать с пылу, с жару. Тепленькое мне подавай! Вот и сейчас возьмется этот серый метать своей боевой ложкой, которая мне уж объемней половника начинала представляться — и до теплого дело не дойдет, горяченькие две порции красноармейского супа окажутся в брюхе.

В чужом!

Мы начали.

Суп был уже не впрогоряч, и я засуетился было, затаскал свою узкорылую ложку туда да обратно, как вдруг заметил, что напарник мой не спешит и заслуженной своей ложкой не злоупотребляет. Зачерпывать-то он зачерпывает во весь мах, во всю глубину ложки, но потом, как бы ненароком, вроде от неловкости задевал за котелок, и из ложки выплескивалась половина обратно, и оставалось в ней столько же мутной жижицы, сколько и в моей ложке, может, даже и поменьше.

В котелке оказалась одна макаронина. Одна на двоих! Длинная, правда, деbeatая, из довоенного теста, может, и из самой Америки, со «второго фронта» — точно живое создание, она перекатывалась по котелку от одного бока к другому, потому что, когда дело подошло к концу и ложки начали скрести дно, мы наклоняли котелок: напарник мне — я черпну, наклон к напарнику — он черпнет.

И вот насуху осталась только макаронина, мутную жижицу мы перелили ложками в себя, и она не утолила, лишь сильнее возбудила голод. Ах, как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет — с ложки она соскользнет обратно, шлепнется в котелок, может, и в клочки разорвется ее слабое белое тело, нет, рукою мне хотелось ее сцапать — и в рот, в рот!

Если бы жизнь до войны не научила меня сдерживать свои порывы и вожделения, я бы, может, так и сделал — схватил, заглотил, и чего ты со мной сделаешь? Ну, завезешь по лбу ложкой, ну, может, пнешь и скажешь: «Шакал!» Эка невидаль! И пинали меня, и обзывали еще и похлестче.

Я отвернулся и застланными великим напряжением глазами смотрел на окраину древнего городка, на тихие российские пейзажи, ничего, впрочем, перед собою не видя. В моих глазах жило одно лишь трагическое видение — белая макаронина с порванным, как у безпризорной, может, и позорно брошенной пушки-сорокапятки, жерлом.

Раздался тихий звяк. Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что макароны давно уж на свете нет, что унес ее, нежную, сладкую, этот серый, молчаливый, нет не человек, а волк или еще кто-то, хищный, ненавистный, мне на доньшке котелка снисходительно оставив дохлестать ложечку самого жоркого, самого солоного и вкусного варева. Да что оно, варево, по сравнению с макарониной?!

Но... Но макаронина покоилась на месте. В тонком беловатом облачке жижицы, высоченной из себя, лежала она, разваренная, загнутая вопросительным знаком и, казалось мне, сделалась еще дородней и привлекательней своим царственным телом.

Мой напарник первый раз пристально глянул на меня — и в глубине его усталых глаз, на которые из-под век вместе с глицерино-светящейся пленкой наплывали красненькие потеки, я заметил

не улыбку, нет, а какое-то всепонимание и усталую мудрость, что готова и к всепрощению, и к снисходительности. Он молча же своей зазубренной ложкой раздвоил макаронину, но не на равные части — и... — молодежонький салага, превращенный в запасном полку в мелкотравчатого кусочника, я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело — конец макаронины, который подлиньше, он загребет себе.

Но деревянная ложка коротким толчком почти сердито подсунула к моему краю именно ту часть макаронины, которая была длинше.

Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в обросший седоватой щетиной рот беленькую ленточку макаронины, облизал ложку, сунул ее в вещмешок, поднялся и, бросив на ходу первые и последние слова: «Котелок сдашь!» — ушел куда-то, и в спине его серой, в давно не бритой, дегтярно чернеющей шее, в кругло и серо обозначенном стриженем затылке, до которого не доставала малая, сморщенная и тоже серая пилотка, чудилось мне всеокрушающее презрение.

Я тихо вздохнул, зачерпнул завиток макаронины ложкой, допил через край круто соленую жижицу и поспешил сдавать на склад котелок, за который взята у меня красноармейская книжка. До отправки во фронтовую часть я все время не то чтобы боялся, а вот не хотел — и все — встречаться со своим серым напарником по котелку.

И никогда, никогда его более не встретил, потому что всюду тучею клубился военный люд, а в туче поди-ка отыщи, по-современному говоря, человеко-единицу.

Но, как видите, я не забыл случайного напарника по котелку и не забыл на ходу мне преподавшего урока, может, самого справедливого, самого нравственного из всех уроков, какие преподала мне жизнь.

## ТИХАЯ ПТИЦА

Старая скопа, чуть пошевеливая тряпично-вялыми, дырватými во взмахе крыльями, плавно и упрямо кружилась над Енисеем, выглядывая добычу.

Выше по реке огромная гидростанция перемалывала воду, обращая силу и мощь ее в электроэнергию, и тугими, круто свитыми волнами, ударом ли зеленого от напряжения слива, гулом ли могучих машин и кружением колес оглушало иль придавливало мелкую, резе крупную рыбу. Плыла она кверху брюхом, шевелила жабрами, то открывая небу красный их жар, то закрывая на вдохе хрустящие крышки жабер в узкие щели и настойчиво пытаясь опрокинуться на бок, затем на белое, чуткое брюхо. Иной рыбине удавалось стать на ребро, кверху «святым пером» и даже на которое время разворотиться встреч течению головой, бороться с ним, рассекать воду, упираясь

хвостом в струю, упрямо плыть вверх и вверх, куда-то туда, где исток рыбьего рода или где была когда-то большая вольная вода вечности, заронившая в рыбий мозг неистребимый зов к движению, к воде обетованной или к чему-то, так и не отгаданному хитромудрым человеком, который делает вид, будто все вокруг постиг, а уж про такую молчаливую тварь, как рыба, и знать-то нечего — она и годна лишь в котел да на сковородку.

В первые годы работы гидростанции, как и на всех загороженных реках, рыбы у плотины толклось много и ее хватало всем: и птицам, и зверям, даже ненасытным воронам хватало. И людям, которых тут, как и ворон, звали стервятниками за то, что они вылавливали полудохлую, а то и дохлую рыбу, хватало и на пропой и на закусь. Но прошли годы, рыба, истолченная водой и железом, которая померла, которая нашла другие пути и воды, зашла и обжила их, и редко уж, редко пронесет по Енисею, обмелевшему, суетливому, со дна вывернутому, будто старый овчинный тулуп, галечными, серыми шиверами и отмелями, зевающего окунька, либо судорожно шепчущую что-то вялым ртом сорожонку, искрящегося чешуею ельчишку, и тогда старая скопа из лохматого, малоподвижного существа, похожего на истрепанную меховую шапку, скуки ради кем-то кинутую в небо, сразу преобразалась, сжав тело и крылья, падала стремительно и расчетливо вниз, ловко с одного захода брала с воды добычу.

Скопа жила в рыжих скалах, продырявленных пещерами, по левому берегу Енисея. На одиноком, ветром остеганном дереве было у нее и начало уже рассыпаться издалека видное гнездо. Здесь, на левом берегу реки, не так еще шумно илюдно, как на правом, редко, как бы крадучись, по кромке каменистого берега проковыляет к дачам частный «жигуленок», или прохрапит напряженным мотором самосвал с уворованным бетоном, грузовик с гвоздями и пиломатериалами.

Скопа привыкла к этому крадчивому, рвущемуся шуму и редкому движению, да и живет она высоко. Под деревом, одиноким и полузасохшим, в расщелине, заросшей жимолостью, шипицей и таволожником, у нее есть спокойная засидка. Она там спит и может о чем-то думать свою птичью, никому не ведомую думу, а над нею проносятся ветра, самолеты, хлещутся летами и оседают меж камней осенями торпливые и какие-то беспокойные листья, сорит обломками сучков и прелью гнезда старое дерево. К одиночеству скопе не привыкать: одиночество — удел хищника, даже такого смиренного, как скопа, очищающего от дохлятины и больной рыбы большие и малые водоемы, в особенности новые, так страшно загаженные всякой зарослью водорослей, еще не наладившие ни берегов, ни жизни водной, ни погоды, ни природы.

Пищи старой скопе надо уже немного. Летний день велик, и она углядела бы и схватила бы с воды пяток-другой рыбок, не спеша

расклевала бы их в камнях, и мышки за нею подобрали бы, источили и косточки. У мышек очень острые резцы, их зубу любая кость дается. Это они, мышки, истачивают и обращают в прах сброшенные в тайге оленьи и сохатинные рога, павших от ран и болезней зверьков и зверей: мышка, ворон, скопа — санитары, и какие санитары. Вод и лесов.

Но стара скопа, стара. Затупились когти на ее лапах и очерствела на них кожа, ссохлись пальцы. Чтобы донести пойманную добычу до скал, надо скопе крепче зажать ее в когтях, и она садится на сплавную бону, сделанную из пиленого бруса, широкую и удобную бону, добывает клювом рыбину, если она еще живая, и пробует упрыгать, скатиться с боны, затем уж уверенно берет птица в лапы, зажимает в когтях рыбину и неспешно, махая крылами, направляется в скалы, в рыхие, древние камни, наполненные мудрым молчалием тысячелетий, чтобы там, в горделивой, высокой дали, попытаться, очистить о камни клюв и, отдыхая, глядеть вниз, на реку, на суetyащиеся по ней моторки, катера и буксиры, на «Ракету», детской игрушкой, ткацким ли челноком пролетающую то вверх, то вниз по реке. У нее, у «Ракеты», и дымок-то сзади какой-то легкий, тоже игрушечный. Качнет куда-то и зачем-то плывущие бревна, пошевелит скрипучую бону, ударит по берегу, катнет отточенный волной камешек, выбросит на него кору, щепу, обломки деревьев, мусор и мазутные тряпки. И долго, уже после того, как «Ракета» унесется, исчезнет за островами, среди городских, недвижимых громад, возле берега будет еще мутной полосой поплескиваться, успокаиваться и отстаиваться вода. И, задремывая, старая высокая птица раздвоит в зрачке мир: солнечное поднебесье с животворительной голубишной — в верхней половине — и мелкий, суетный, нижний мир, исходящий шумом и вонью, с этой все колышущейся, все бьющейся в берег, грязной, взбулгаченной полоской воды.

Отдохнет, успокоится, сил наберется старая птица — и снова на работу, снова круг за кругом над рекой, словно в бесконечном, утомительном и сладком сне, парит, неприкаянная, всеми забытая душа. А по берегу на бонах и на бревнах сидят вороны и сторожат свой момент. В Сибири вороны черны, что головешки, никакого просвета на теле, никаких теней и оттенков, и характер у здешней вороны, как у черного каторжника: ни себе, ни птицам, ни людям от нее покоя нет. Вместе с сороками ворона тащит все, что уцелит глаз, вплоть до мыла во дворе и на пристани. Беспощадно чистит скворечники и гнезда от яиц и птенцов, дерет зазевавшихся цыпущек, рвет харч из рюкзака у забывчивого, мечтательного рыбакишки. Друг дружку вороны тоже не жалуют: видят, что какой-то проныре повезло, раскопала она что-то или стибрила, в клюве добычу несет, похарчиться метит, — медленно оравой бросаются догонять, отбивать — братство тут не в чести.

Ворона, которая постарей да поопытней, съестное урвет или

добудет — скорее молчком маханет в бурьян, под застреху сарая либо в заломы бревен и там, воровски озираясь, поскорей жадно исклевывает в одиночку — корку хлеба, дохлятину, случается, и кильку в томате выкушает. Алкаши напьются на берегу, посваляются, ворона у них все тут и подберет, издолбит; один раз из стакана бормотухи клювом хватанула, головой затрясла, к реке попрыгала — горло промывать — бормотуху вороны еще не освоили.

За скопу вороны никогда не бросаются сразу. Увидев, что та разжилась рыбкой, они приотпустят ее до середины реки и тогда с торжествующим, враждебным криком и гомоном бросаются вслед за добытчицей, быстро настигают и атакуют ее со всех сторон, рыча при этом и каркая. Кажется, я даже разбираю, что они кричат: «Отдай, хар-харя, отдай! Наш харррч! Харррч...»

Скопа какое-то время увертывается, вихляется, жметя к воде, скользит над рекой. Вот уж и берег недалеко, и скалы с родными расщелинами близко — там разбойникам-воронам ничего с нею не сделать, там она спрячется от черной банды в камнях, в сохлом, колючем кустарнике. Скопа умеет прятаться, умеет найти такое место и так засесть в ухоронке, так сложится вся и замрет, что сама делается похожей на камень, даже шакалье, всезрящее око вороны не различит ее в камнях.

Но скопу гонит черная банда, наторевшая в разбое и воровстве, ее подшибают снизу, налетают сверху, будто вражеские истребители, и долбят клювами, цапают лапами, и орут оглушительно, вразнобой и все вместе: «Харр! Харрч! Хар! Хар!...» Вот и перья вышибли или вытеребили из старой птицы, по хребту с прорезанным пером когтями прошлись. И не выдержала скопа натиска, разжала скрюченные лапы, уронила из когтей добычу. Серебрушкой сверкнув на солнце, рыбешка упала в воду, вороны, клубясь, закружились над ней, погнались вниз по течению, хлопают, орут, толкают друг дружку, но рыбку с воды взять не могут и в конце концов теряют ее и с руганью рассыпаются по сторонам. Рассевшись по бревнам, они клювами укладывают на себе перья, приводят себя в порядок и угрюмо ворчат: «Уплыл харрч! Улетела харря!» — однако нам торопиться, мол, некуда, наша жизнь такая — ждать, терпеть и надеяться. Но над заламами из бревен, над бонами, над всей вороньей стаей почитай еще с полчаса мотается, хлопает крыльями мама-ворона или папа-ворона и кроет своих детушек подслушанными на берегу, от пьянчуг почерпнутыми словами, главным образом блатными: «Фрайеррра! Харри! Трррепачи! Трррегий сррок на земле мотае, а жрррратву, корррм урррвать не можете, хмырри!» Детки, смиренно подогнув лапы, прижимаются брюхом к нагретым бревнам, безропотно внимают ругани родителей, учатся уму-разуму.

Скопа, лишившись добычи, всякий раз издавала протяжный тонкий стон и махала ослабевшими крыльями к берегу, к скалам,



и я никогда не видел, куда она улетает, где садится, потому что вблизи и на фоне скал она делалась незаметной. Какое-то время еще мелькало что-то серенькое, мохнатое, трепыхалось ночной бабочкой иль пыльным листиком в воздухе, но свет скал, их рыжевато-серая тень постепенно вбирали в себя птицу, и всякое движение замирало, ничто не тревожило покоя каменных громад — ни крики, ни стон, ни взмахи крыл, и только ночью, сперва за Караульным быком, потом на спуске от него и по узкой полосе берега мелькал иногда свет машинных фар да прорезал темноту и полоской ложился на воду огонек терпеливого рыбака иль приютившегося у реки туриста.

К осени скопа над Енисеем появляться перестала. Улетела ли тихая птица в другие края из приенисейских скал, подалась ли на просторное водохранилище, где больше рыбы и такое обилие хлама, воды и заливов, что не найти, не достать ее там грабительницам воронам, да и с хлебных полей в тех местах вороны питаются, на помойках и захоронениях дохлого скота пасутся.

Но скорее всего померла скопа от голодной старости, и тело ее сохлось, упало в камни с одинокого, рыжим пухом к холодам покрывшегося дерева, там и растеребили ее, и съели шустрые, старательные мышки. Перья разнесло по родным расщелинам и распадкам, и весной соберут перо малые пташки, устелят, утепляют им гнезда.

Ах, старость, старость — всем-то, всем она не в радость.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Печальный детектив (окончание) . . . . .	3
Макаронина (рассказ) . . . . .	40
Тихая птица (рассказ) . . . . .	43

**Виктор Петрович АСТАФЬЕВ**

**ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ**

Редактор Д. К. Иванов

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 17.03.86. Подписано к печати 26.05.86. А 00690.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная  
печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,03. Усл. кр.-отт. 2,28.  
Тираж 80 000. Изд № 1619. Зак. № 2630. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции типография  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП,  
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

В книжных магазинах книготоргов и потребсоюзов Российской Федерации книги можно не только купить, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

Стоимость билета — 25 копеек. Сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

Вероятность выигрыша велика, так как из каждых 200 билетов — 69 выигрышных!

По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

Прочитанные книги вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Росглавкнига**  
**Дирекция Всероссийской книжной лотереи**